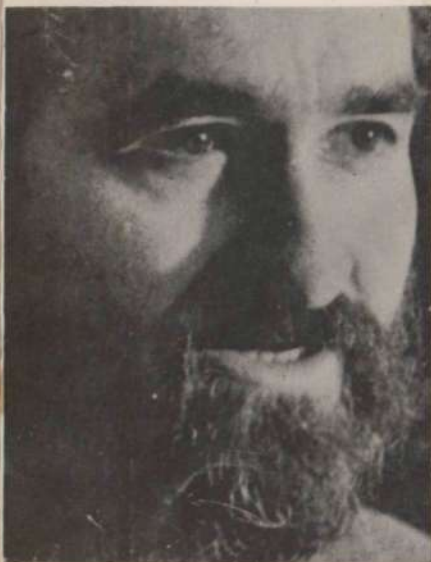


ВРЕМЯ ИДМБ 15 1977

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

- СЕКСУАЛЬНАЯ ОДИССЕЯ
СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
- СТАЛИН НА ДВОРЯНСКОМ
БАЛУ
- РУССКАЯ КУЛЬТУРА
В ИЗРАИЛЕ



Марина Глазова ▲ Знак одиночества
◀ Владимир Марамзин Человек, кото-
рый верил в свое особое назначение

ВРЕМЯ И МЫ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ.

№15 март 1977

Выходит один раз в месяц

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Владимир Маразмин

"Человек, который верил
в свое особое назначение" 3

Сол Белл о у

"Рукописи Гонзаги" 66

ПОЭЗИЯ

Наум Коржавин

"Уходим в тревожное "прочь" 97

Марина Глазова

"Знак одиночества" 102

Владимир Наумов

"Сотворение мира" 106

ПУБЛИЦИСТИКА

Майя Каганская

"Любовь побеждает смерть"
или пятидесятые годы" 111

Элиезер Бруцкус

"Сжигать ли мосты?" 127

КРИТИКА

Илья Рубин

"Своеволие Бориса Хазанова" 143

ИЗ ПРОШЛОГО

Юлий Марголин

"Сентябрь, 1939" 155

ПИСЬМА И ПУБЛИКАЦИИ

Григорий Тартаковский

"Парадоксы Архипелага" 186

"Время и мы" с разных точек зрения" 205

Коротко об авторах 217

DIGEST OF 15 ISSUE OF

"VREMIA I MY" ("TIME AND WE"). 219

Главный редактор

Виктор Перельман

Редакционная коллегия:

Фаина Баазова

Георгий Бен

Лия Владимирова

Егошуа А. Гильбоа

Илья Гольденфельд

Михаил Калик

Михаил Ледер

Борис Орлов (*зам. гл. редактора*)

Наталья Рубинштейн

Дмитрий Сегал

Йосеф Текоа

Аарон Ярив

Представитель журнала в США Эдуард Штейн

7 Miles Ave, Woodbridge,

Conn. 06525 t. (203) 387 05-97.

Представитель журнала во Франции Галина Келлерман

64, Rue de la Condamine

Paris- 17, FRANCE



Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

OCR и вычитка - Давид Титиевский
Библиотека Александра Белоусенко

ПРОЗА

Владимир МАРМЗИН

"...вред гения исправляется явлением другого, противодействующего".

И. Киреевский

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВЕРИЛ В СВОЕ ОСОБОЕ НАЗНАЧЕНИЕ



Предисловие от автора.

О жизни человека, если условно ее расчленить, можно написать серию повестей с такими названиями:

1. Человек, который верил в себя
2. Человек, который верил в светлое прошлое
3. Человек, который верил в лучшее будущее
4. Человек, который верил правительству
5. Человек, который верил в связь людей
6. Человек, который верил в великую силу наивности
7. Человек, который верил в обряды
8. Человек, который верил в свое особое назначение
9. Человек, который верил в искусство
10. Человек, который верил в наоборот
11. Человек, который верил в разум
12. Человек, который верил в работу как в таковую
13. Человек, который верил в экономию
14. Человек, который верил в справедливость
15. Человек, который верил в борьбу
16. Человек, который верил всем людям, которые верят, и др.

Одна из этих повестей, отнюдь не самая главная, отнюдь не самая нужная и даже не самая первая по порядку — а во всех отношениях какая-то срединная, — и последует за этим небольшим вступлением. Герой ее, конечно, человек незаурядный и даже в некотором роде мученик своей идеи, а вреден он или полезен — судить не нам.

"Являясь для большого душою сильным ядом, для здорового любовь — как огонь железу, которое хочет быть сталью. Однако не перевелись среди нас еще отдельные личности, которые видят в женщине только самку. Что ждет такого донжуана в будущем? Он самоустраняется от общественной жизни, лишается благотворного влияния коллектива, вызывает всеобщее презрение окружающих. Истасканный и потрепанный, одинокий и разочарованный, будет он доживать свой век. А если и найдет он себе попутчицу в жизни, то только потому, что она, подобно ему, носилась по волнам жизни и не сможет даже назвать всех своих "мужей" (привести примеры)".

*Инструктивная лекция "О дружбе и любви".
г. Минусинск, 1963*

1. ПОЛНАЯ ЯСНОСТЬ С САМОГО НАЧАЛА

Что скрывать, это относится к женщинам. Это не значит, что речь пойдет о женщине, которая верила — и так далее. Речь пойдет о человеке, который верил в свое особое назначение в отношении женщин. Проще говоря, он верил, что ему назначено их ублажать, то есть о них самому ублажаться, то есть, я думаю, всем это ясно.

2. РЫБА В ВОДЕ

С детства тянулся он к женщине. Но так много имеется вокруг нас людей, которые видят свое назначение в том, чтоб скрывать назначение наше от нас, то долго он совестился этого сам, загонял это внутрь, и оно, внутри, лежало камнем, выпирая неожиданно в некотором месте, главным образом в бесконтрольном сне выпирая, а также в трамвае, в автобусе, в давке женских людей (как сказал поэт) об него, где, хотя он и боялся этого каменного выпирания, но еще боялся более, чтобы в давке его не касались случайно

мужчины, и при этом брезгливо вырывался куда только мог, так что не искал специально соседства, а лишь водворял себя естественно в ту среду, где он мог дальше жить. И потом, дальше было: живет он, избегая автобусов и прочих трамваев, ходит попросту, вдалеке от других горожан, и ничто кругом не предвещает такого, но это, то самое, тихо вдруг возникает — поперек совсем постороннего размышления, на виду у прохожего человечества или живущего почему-либо рядом. А в силу своих необычных стремлений, в силу горячности, что бывает в те годы, убраться это не может никак, и некому, нечем его заслонить. Что тут бывает! Вспыхивает кровь от уха до уха, брызгают слезы, не умея помочь.

Но, как всегда это, в общем, случается, невозможно такое слишком долго скрывать, пока не бывало в нашем мире людей, от которых надолго удалось бы сокрыть, — а тем более не было, чтоб навсегда; раз узнают они, друг от друга узнают, из кино и от книги, заглотают из воздуха, от проходной женщины им передается, по заборам, в крайности, могут прочесть; и открытие, что скрывалось сознательно, скрывалось людьми недобросовестными, — это открытие бьет неожиданно в сердце, и заслоняет собой остальное, и ширится.

3. ВОТ ОН Я!

В этом возрасте часто бывает веселье. И пока иные крутят черные ручки, клавиши нажимают, меняя волну, вполне довольные рюмкой в себе и ударами ритма, в такт притопывают острым ботинком, под стул, хотя на каждого предусмотрено накануне по девушке и каждый заранее обещал себя ей показать — да все не показывал, а только притопывал, только поглядывал глазом, говоря что-то очень простое, даже слишком простое, хоть и не был так прост; он же в это время, заняв соседнюю комнату, куда никто теперь не пускался ходить, если же не было комнаты, то закрывшись на кухне, в ванной закрывшись, в конце концов, на крючок или выйдя на лестницу, выше площадкой, он уходил от такого скучного ему, неидейного и пустого веселья, уходил,

разумеется, не один, а вдвоем, и там разворачивал себя в полный рост, как он мог — а при этом, надо признаться, он мог.

Оказавшись с другом своим как-то в комнате на ночь — с ними вместе были согласные девушки — то друг, лишившись поддержки весельем, танцем поддержки, притопыванием, анекдотом, волной, друг заскучал, только свет был погашен. И, ожидая всю ночь, когда станет абсолютно тихо, то есть тихо наступит у того, на диване, когда на диване наконец будет сон, чтобы незамеченным, в тишине, сделать малое свое, что он мог совершить среди ночи, так и не дождался друг, чтобы сделалось тихо, всю ночь. А утром с дивана встала полная счастья и все говорила, умываясь, одеваясь, говорила, за чаем, за завтраком — все говорила одно:

— Ой, какая я счастливая! Какая счастливая я сегодня, ребята!

Другая при этом едва удерживала себя, чтоб не плакать.

Разнеслась его слава, с презрением, с завистью, — как всегда презируют людей убежденных, как всегда убежденным завидуют втуне. Разнеслась его слава среди женских людей, среди тех, кто и может это только понять. И приходят к нему от такой-то, с запиской.

— Я хочу... понимаете?— быть ей сестричкой.

Понимаете? — сестричкой, по нему то есть как бы сестричкой, такое это иносказательное слово, которое значит нечто вовсе иное.

А если приходят — вдруг его осеняет:

— Не для себя, а ведь больше для них! То есть просто для них, для них одних, не я — а мною, через меня как бы им раздастся, а я только повод!

И вот уже верит в свое назначение, верит, верит уже, что его это главная цель на земле, что неспроста ему отпущено, надо раздавать себя, все полнее и шире, всем себя нужно раздать, черным, желтым и рыжим, иностранным нужно раздать себя, узкоглазым и прочим. Там меня никогда еще не было? Ну вот, погодите, будет и там меня, скоро дождетесь! А здесь, у вас,— пасмурные, бедные — у вас не бывало меня? Вот он я, забирайте!

Что же вы меня не цените?— ведь потом станет жалко — а меня уже нет. Вот он я — и нет меня. Мне нельзя тратить время, у меня его мало, и так семь часов ежедневно у меня отнимают, меня отнимают от вас, от людей, от вас, человечество женское,— ничего не поделаться!

Другого не понимал и не верил, что не все это ценят. Да как же не все? — если фильмы про это. Если книги — о том же. Если все об этом неустанно поют.

— Мы с тобой два берега у одной реки, — поют.

— Где проходили милого ножки, — поют.

— Но как на свете без любви прожить? — опять же поют, задавая вопрос, потому что не знают действительно — как.

Или вот он слышал однажды в деревне:

"Ах, у моёво у бахвала нету ручки у подвала", — поют.

Может, кому-нибудь это неясно, но он понимает — у какого подвала и какой такой именно не имеется ручки.

"Правда, милые подруги, дырочка провернута, — сообщается в той же частушке подругам, — в дырочку веревочка хохлатая продернута!"

Боже мой! Ведь как сообщается, с какой основательной иронией и грустью! С горечью, можно заметить, поют. Да ведь вот он я — существую на свете, да позабудьтесь вы от своих от хохлатых, отведайте меня сполна, в полной мере — да и Бог с вами совсем, живите дальше, как можете!

4. НЕОЖИДАННО ДЛЯ ВСЕХ

И вдруг этот человек женился. Как это случилось, никому не понятно. И живет очень тихо, в семейном согласии, в верности принципам, слову и штампу.

Возможно несколько толкований такого поступка.

5. ПЕРВОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Может быть, встретилась ему такая девушка, которая не поняла сразу, с первой встречи, что за удивительный, исклю-

чительный человек ей попался. Может, даже со второй не поняла она встречи, а возможно, и с третьей. Столкнувшись с чем-то, чего постигнуть не мог, он, естественно, начал повторять эти встречи, биться всем, что ему отпущено сверх, — чтобы ей захотелось отведать того, что положено кем-то не сверх, а в основу. Но, видимо, этого сверх оказалось неожиданно очень немного, так что ей никак не хотелось вслед за этим отведать. Все, что он делал, разбивалось о главную трудность: о то, что нельзя было сразу начинать с основного, в чем он силен, в чем его основная огромная ценность для мира, в чем живет он естественно, будто летает. Может, если б могла она видеть его со стороны в тот момент — это как-то не принято между людей, но ведь он исключение в некотором смысле? — то она и залюбовалась, поразилась бы его совершенству и не устояла. Но не было такого да и быть не могло, а иного — что он мог предложить ей иного? Лишь одни разговоры о том, вокруг того и около того же, хотя бы и разговоры с возведением того в некое солнце, в небольшое светило посреди нашей жизни. Но нет, разговоры ее не проняли. И десятое, и сотое повторение встреч ни на шаг не продвинуло его к той единственной цели, только и имеющей для него настоящую ценность.

И неожиданно он, всегда ругавший лицемеров, придумавших эти популярные игры: мужское достоинство в обмен на девичью гордость, медленное уступание в награду за долгий, неотступный напор, многократные глядения родных кинофильмов прежде возможности взяться за пальцы, слова, слова и опять слова — в ответ на слова, слова и слова, и каждое слово наступает на противное, подавая союзному свою словесную ручку; он, который морщился, едва вспоминая все, чему его когда-то учили учителя в этом вопросе, глубоко и лживо вздыхавшие непонятно о чем, затаившие про себя основное его на земле назначение — он неожиданно подумал, словно о самом вероятном, словно о простом ежедневном деле мыть руки перед едой и со сна: "А наверное, это во мне и появилась та самая любовь, о которой твердят, - если уж я так упорно добиваюсь ее!"

И уже ему верилось, что это любовь — почему бы и нет? Любили все, любили деды... видимо, есть в этом действительная правда, какой он не знал.

Со всей своей силой он обрушился в это новое для него представление. Раз любовь — то и ясно, почему это долго. Тут уже и законы другие, когда появляется на сцену любовь. Уверившись в этой своей неожиданной способности, как у прочих людей, прикоснувшись через это всего человечества, которое любит вовсю каждый день, любит само себя, половина на половину, не считая детей (хотя даже некоторых можно считать), он испытал потрясающий толчок, за которым нахлынуло такое замирение, такое затишье разлилось по нему, которое принял он опять же за любовь, а было это не чем иным, как вливанием в море, причалом кораблика к борту других, многих, тысяч. И за это вливание не жаль заплатить было уже чем угодно: новые десятки встреч пустопорожних — ничего; непонятные какие-то ужимки в словах, а также на лице и руками, в которых прочие отыскивали проявление грации — и он отыскал; нужно для этого пройти через штамп, получить разрешение в виде бумаги — он и разрешение это пройдет. "Все остальные на земле, остальное человечество, его получают? — Как вам сказать, в наиболее развитых странах..." — и хотя на этот вопрос невозможно ответить вполне однозначно, но и здесь перехлестнуло — если хочет она. А она, разумеется, бешено хочет, какая же, скажите, она не захочет, если в этом ей видится основной, главный смысл всего дела, особенно в те небольшие года, в которые, как известно теперь по науке, страсть к материнству не может быть сильной, а прочее наслаждение, данное нам для обмана, чтоб из нас выманывать продолжателей жизни, оно придет к ней значительно позже, — так что нет ничего, кроме нечастой любви к поцелуям, кроме желания купить отдельный от мира шкаф по имени "Хельга". Да мало ли что еще хочет она! И все это "хочет" связывается с тем переломным моментом — и на все дает право одна лишь бумага, только на это она и дает, но только это тогда она видит.

Так оказался через год он женатым.

6. ВТОРОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

А может быть, вышло оно и не так. Возможно, напротив, она оказалась с ним тотчас, ничуть не противясь всему, что хотел. И выложил он себя, свое исключительное понимание дела, и она ему вторила — в полном сознании, что такое меж них происходит сейчас. Так они провели удивительный день и ушли по домам забывать друг о друге, а недолго спустя возвратиться и вспомнить.

Но, недолго спустя, захотев возвратиться, он не встретил в ней на это согласия и даже никакого уважения к воспоминанию. Эта странность, эта неуважительность, столь непонятная ему, столь не похожая на него самого, который помнил с благодарностью все, что с ним было, — хотя и не сам для себя, а для них, для них одних, и только они и должны это помнить ему с благодарностью, но он, который помнил, несмотря на это, им всем, он был удивлен до расширения глаз. Он остался стоять внутри стеклянного телефона-автомата, мешая светиться ему изнутри для прохожих поэтов, черным телом надолго застряв среди будки, не давая тем самым войти ей в пейзаж.

Подобная странность, если к ней возвращаться, никак и ничем не могла объясниться. И как бы ни прикидывал он свое знание, а также внезапные случаи жизни, ничего в этот раз у него не сходило.

Тогда он добился второй, неназначенной встречи, может, просто дождался ее в проходной, может, адрес узнал и явился как друг. И в эту вторую, неотвергнутую встречу были только одни разговоры досыта, а того, основного, как будто и не было между ними совсем. В третью тоже продолжались те разговоры; скоро он так натерел в разговорах, что мог разговаривать из любых положений — и тогда ему было позволено разговаривать лежа. И тут-то действительно, в этот раз с разговором, ему показалось, будто он никогда не изведывал ничего похожего прежде. Это, и только это, захотел он проделывать, пока не умрет. Он решился и сказал самое стыдное, самое морщившее прежде его, выворачивавшее наизнанку, наперекосяк его слово — и оно ничего, прозвуч-

чало у них в разговорах. Разговоры приняли его в себя, в свои извилистые недра, иногда выбрасывая его на поверхность. И чтобы вечно продолжались между них разговоры, он сам настоял и скрепил их бумагой.

Так вторично он принял за любовь (и поверил) простое свойство, доступное всему человечеству, — его любовь поговорить и послушать.

7. ТЕМНАЯ НОЧЬ МЕЖ ЛЮДЕЙ

А может, он утратился однажды, когда остался один ночевать. Известно, что не всегда ожидают вас розы на том нелегком пути, что он выбрал себе. Это служение, которое желается быть непрерывным, зачастую не умеет быть действительно непрерывным. Если старые знакомства все исчерпаны, если они не требуют повторения — это будет как остановка среди поспешного бега, как потеря напрасно драгоценных минут, как недополучка кем-то его в этот день, как вообще огромная фигура псу под хвост — тогда как новые почему-то не получились, сегодня не получились, завтра не получились, или получились, но с непониманием его назначения, то есть в конечном итоге впустую, — то и придется ночевать одному, и так может выйти подряд день за днем.

Отчего же мы все-таки так боимся ночи? Ведь не признаемся себе, а боимся. В удобных домах, в электрическом свете, который не может прогнать тайный страх перед той темнотой, что дома окружает, и мы прижимаемся ближе друг к другу, особенно подходит для этого женщина — прижимаемся к женщине, прижимаемся ко сну, только он, самый ближний по ночам человеку, может заставить его позабыть свое тихое устрашение перед чем-то, чего и нет, только сон может выстроить другую реальность на это короткое время, и в этой реальности — вы замечали? — всегда стоит день, то есть в любом вашем сне. Неужели важен людям какой-то солнечный свет, зачастую рассеянный через толстые облака и невидный, вернее, что важен — то известно любому, но неужто так связаны мы с ним, что лишь перестает он, как мы

должны все улечься горизонтально и перестать глядеть на него глазами, чтобы не увидеть, что его больше нет?

И очень верится мне, что именно так, ночуя когда-нибудь в одиночку, задумал он твердо прикрепить к себе для этого свою постоянную женщину. Настолько сильно было в нем устрашение перед тем, чтобы спать одному через длинную ночь, что оно пересилило всё его назначение, главную его, непоколебимую веру, которой, как с горечью стало казаться, не место еще среди этих несовершенных людей, неспособных понять даже собственной пользы, даже принять в себя свое удовольствие.

8. КОЛЕБАНИЯ ВЕРЫ

Возможно также, что заколебался когда-то в своей этой вере: а почему предназначено мне, как же я так уверен? Я про других ничего же не знаю, другие, возможно, обходятся с этим не хуже. Допустимы также нередкие встречи с другими, действительно несколько подобными ему в этом деле людьми, которые просто узнают в этом качестве по приметам друг друга и вступают, узнав, меж собой в разговоры, но не имея столь твердой уверенности в своем назначении, а также и доли тех сил, что имелись у нашего человека, однако имели неприятную легкость в словах, чем нетрудно действовали на его простодушие, поверившее в мнимое их превосходство на этих путях и устыдившееся за себя, за свой малый успех и возможность, хотя превосходства всего было — слово, которое мигом слетало с губы. Устыдившись, он мог разувериться в своем назначении, тут же сменив на семейную жизнь.

Итак, он женился и жил очень тихо. Год тихо жил, даже два, даже три. А оттого еще жил очень тихо, что жена его по имени Алла весьма содействовала его тихой жизни, никогда не спуская с него своих глаз. Тем самым она создавала инерцию, по которой катилось его решение на семейную жизнь, чем бы ни было вызвано оно поначалу. Она убирала с пути его любую возможность, любой малый повод, чтобы выпасть

назад. С другой стороны, окружив постоянным презрением, постоянным и сильным отношением свысока все его прежние взгляды на мир, всю его искреннюю веру в назначенность линии, она понемногу разрушала и саму его веру, если та не была еще разрушена раньше. Конечно, не мог он со временем не проникнуться мыслью, что все его прошлое содержит нечто постыдное, о чем рассказывать можно не иначе как шепотом, а при его огромной цельности он не мог совершать добровольно собой ничего, в чем бы ни был предельно убежден изнутри.

Точно знала она, сколько времени нужно ему до работы, иногда вдруг встречала его для проверки, знала, сколько времени бреются и стригутся мужчины в своем мужском парикмахерском зале, при этом проверки на редкость просты: все же должен он выйти побрит и острижен, а попробует сам — это выйдет длинней. В бане знала, сколько следует мыться, однако и в баню ходила вдвоем — дойдут до классов, а там и разделятся. Дальше, к сожалению, ей с ним нельзя. После бани же был он обязан дожидаться, ей быстрее не управиться в смысле волос, как известно, у женщины волос-то долог, хотя с продолжением она не согласна, она считает, напротив, что придумала все и умно, и надежно, потому как за ним, за таким человеком — нужен глаз да и глаз, непрерывное давление глаза жены.

Он спокойно выносил на себе этот глаз. Год выносил, даже два, даже три. И что случилось потом, никогда не понять. То ли встреча какая-то смогла произойти, сумела выпасть из-под этого надзора. Встреча вернула почему-то ему его веру, которая вспыхнула вновь с потрясающей силой. Или неослабные надзоры всегда не способствуют тому, на что нацелены для охранения, а способствуют наоборот, и из-за этого наоборот возродилась прежняя вера — как знать.

А вернее, я знаю этот точный момент, этот случай.

9. ВЫСТРЕЛ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

В один из дней, когда подозрительность его жены Аллы дошла до неприятных ежедневных разговоров, начиная слег-

ка мешать ему жить на земле, он задержался в послерабочее время для какого-то серьезного общественного собрания, где была замечательная явка рабочих и служащих, что говорило само за себя и за их уважение к общим собраниям — при досрочном начале за час до звонка.

И покамест первый оратор говорил то, что мог, а второй, уже отрешенный от всего остального собрания, сидел в стороне, шевеля про себя губами, словно выманивал свою речь из нутра, как, приговаривая, манят цыплят, он, наш герой, человек, который верил в свое особое назначение, то есть верил когда-то, а сейчас как бы временно уже и не верил, он стоял на ногах за последним рядом сидящих, потому что сесть самому ему было бы негде из-за этой упомянутой замечательной явки. Надо же было случиться такому, чтобы здесь, где с трибуны говорил говоривший, где сидел приготовленный следующий человек, упражняя свои неумелые губы, не привыкшие подниматься на такие высоты, с которых мелочных дел не видать и не нужно, — надо же было такому случиться, чтоб как раз перед ним оказалась сидящая девушка. Последний ряд был длинен и усажен неженскими спинами. Много людей, создав собой небывалую явку, стало за спинами мощной стеной. Часть стены была втянута вперед, по проходам, скучена и сдавлена, и лезла сама на себя. Так что нельзя объяснить, почему в этой массе людей он очутился стоящим за девушкой. С другой стороны, объяснить человека, оказавшегося на маленькой кочке посреди необъятных просторов болот, и почему он опять перепрыгнет на кочку. Такова была его исконная природа, и это как раз укрепляет нас в мысли, что не мог он быть начисто переделан женой.

Эта девушка, сидящая перед ним в этом общем собрании, лица которой он не мог увидеть, не нуждалась как будто бы вовсе в лице. Волосы, поднятые высоко над ушами, конечно, светлые, как теперь это любят, то есть волосы светлые, а, понятно, не уши, — в этих поднятых волосах было столько тихого блеску, откуда берут они из себя столько блеску, чтобы запустить его в одни только волосы? — непонятно; что же тогда остается другому, например, глазам или коже — а все-таки остается, и там блестит еще достаточно и даже

больше чем надо. Сверху виделась ему у нее под плечами четкая, намеренная грудь, словно гипсовый слепок, облаченная в свитер. Все то небольшое, что он мог видеть в девушке внешнего, было замечательно тем, что всю выражало собой ее внутреннюю сущность; сущность же эта была крайне женской.

Стоя в таком чрезвычайном соседстве, что-то начало исходить от него в ее сторону, что-то начало исходить, вероятно, и к нему от нее. Как бы там ни было, вдруг он тихо возложил на нее руку, на всю ее сущность сверх блестящих волос, а она, не вздрогнув, эту руку приняла на себя так, как надо. А после этого много не нужно, все дальнейшее развивается быстро: уж раз не вздрогнула, раз приняла на себя его руку, то и нет ей возврата к тому, что с трибуны, ибо в ней появилось нечто очень простое и естественное, что гораздо серьезней и гораздо сильнее. Дальнейшее, в общем, развивается просто: смехок, наклонясь близко к уху, на последнюю фразу, которую вынесли с трибуны прямо в зал и которую зал принимает, не дрогнув — а мы на нее меж собой усмехнемся; что-то в ухо, опять, досказать за оратора — а что, не имеет никакого значения; и потом уже можно ненароком сказать — да чего они тут? Надоело! Пошли? И немного кивнет, будто делает "ладно", чуть помедлит — и верно: выходит из ряда.

Два давно знакомых меж собой человека пробираются вместе с собрания к выходу — так это выглядит для всех посторонних. И только некоторые, сотрудники одной из сторон, на минуту отметят с удивлением неизвестное до сих им знакомство, не понять как возникшее в разных цехах. У них мелькнет со значением, а потом перестанет, чтобы где-то отложиться про запас, на всякий случай, потому что это значение может действительно ничего и не значить, но, однако, как правило, что-нибудь значит.

И когда они вышли, то значение было. А раз так, то уже никакое собрание, никакие удивительные точки обзора не могли их притягивать, заслонились всем тем, что они собирались немедленно сделать друг с другом.

Не надо рассказывать, как проходило все дальше. Он был старый умелец проводить это дальше, тот необходимый обмен именами под названием знакомство, чтобы было на что откликаться в ответ, а также небольшой вводный проигрыш по рукам и за плечи, с малым целованием нерешительных губ.

Все же последующее называлось *гулять*, и все действительно вмещалось в этом громадном, многосмысленном слове, означающем и ходьбу на свежем воздухе взад и вперед, и любовь между двух, и гулять с кем-нибудь, и много гулять, больше, чем позволяет мораль, и гулять всю жизнь, то есть лихость и непостоянство, и гулять от кого, то есть опять же непостоянство от известного адреса, а также множество прочих значений. Кроме прочего множества, все получилось в их слове, и даже больше, чем все. Было у них, в этом слове, прохаживание, держась только за руки, было и дальше — держась, как в кино. Было обнявшись, с заходом в парадную, чтоб слегка целоваться, с ее испугом тоже было, потому что ходят люди, тогда как вполне бы могли не ходить, посидеть пока там, где сидели пока. Была забываемая встреча двух собак среди громадного промышленного города, на какую они со вниманием посмотрели. Был железный поэт, у которого встретились эти собаки, удивляясь друг другу — откуда взялась? Поэт в железном пиджаке стоял на тумбе, не взирая на них с высоко. Его необъятные железные брюки наводили на мысль о железных кальсонах. Железная складка легла на железных губах. Такой это был замечательный, вечный железный поэт, которого с легкостью все обходили кругом. Были в их слове очень тихие улицы, на которых недавно и массово, дважды, прошел Новый год, и отработавшие елки, уже не елки, а палки, катались прямо по мостовой там и там, гонимые ветром от родных подворотен, откуда их выкинули в белый свет на простор. Но даже тут, на самых тихих улицах города, где уже стало темнеть, в каждом маленьком завороте, в каждом домике жил всегда какой-то хотя бы один человек, который нежданно-негаданно вдруг уходил или, напротив, возвращался к себе, мешая окончательному смыслу их слова.

И все бы еще обошлось, как всегда, то есть был бы один новый случай из многих, который прошел да и мог быть забыт, ни к чему не воззвав в его прежней природе, — если бы в каждом закуте этого города не был приставлен проходить человек.

Теперь же пришлось попроситься к ней в дом, и она, немного размыслив, немного взвесив неизвестные ему обстоятельства, вдруг согласилась, вдруг сразу решила, как это умеют решать они вдруг.

— Ладно, только... — сказала она (ничего не добавив, впрочем, к этому только).

Немного они походили еще, а потом поехали, выйдя из трамвая у военного училища, которое он знал.

Училище, прилегающий сад и короткая улица были взяты за длинный единый забор. В заборе был выстроен домик с воротами, и дежурный солдат стоял у домика на посту. Хотя и не положенные возле него по уставу, рядом стояли две девушки — ах, и тут они тоже! — для того, чтобы их веселил тот солдат. "В таком коллективе, как ваш, девушки, все может случиться!" — говорит солдат со значением, на что они действительно громко смеялись.

— Здесь я живу, — проговорила она. — Дай твой паспорт.

И была еще одна возможность остановки на этом пути: если вдруг у него не окажется паспорт. Но паспорт неожиданно в кармане нашелся, солдат козырнул ей, как козыряют начальству, в охране выписали пропуск на его оказавшийся паспорт.

Эти странные обстоятельства — забор и солдат на посту у забора, пропуск, нужный, чтоб пройти только в гости, хотя и выписываемый легко, с одного ее слова, а главное, необходимость вытаскивать из-за пазухи нечто вовсе ненужное в их сегодняшнем деле, то есть паспорт, в котором к тому же внутри некий штамп — все это несколько смутило его, сбilo с толку, однако ничего не смогло перевесить.

И вот уже сидит в небольшой ее комнате, в которой зачем-то пробито в каждой стенке по двери. Две из них закрыты и заставлены стульями, третья оставлена дверью за все остальные. В эту дверь пару раз она ходила куда-то, пока он сидел,

а после пришла и уселась с ним рядом. Немного поговорив для начала и большей симпатии, посверкав друг на друга глазами и вдоволь поулыбавшись, они замолчали, вполне понимая, что оба они понимают вполне. Тогда он взял ее руками за плечи, чтобы сделать все то, что они понимали. Он целовал ее длинными поцелуями, а она принимала их в себя и будто складывала в отведенное место, которое надобно ими наполнить, прежде чем двинуться дальше вперед. Он прошелся по ней ладонями, в которых было у него небывалое чутье, которые чувствовали самый малый ответ, и ладони сказали, что ответ подтверждают. Сидя на диване, они слегка прилегли на диване, на спинку. Они закрыли глаза, потому что при этом всегда закрывают глаза. Возможно, он даже над нею навис, навис в одно плечо, своей одной половиной; он как бы несколько занесся над ней.

И тут, в этот момент, за стеной что-то грохнуло, что-то ляпнулось об пол (он и после не понял, что бы это могло), та единственная дверь, что была действительно дверью, распахнулась так широко, как могла, как наверное не распахивалась за всю свою службу, и в комнату ворвались две очень сильно возбужденные тетки.

Еще не понимая того, что случилось, он с досадой подумал про открытую дверь. Но дело было не в ней, он действительно не понимал, что случилось.

Одна из теток была постарше, другая моложе; старшую, как теперь ему вспомнилось, они встретили, когда отворили квартиру. Он с ней даже поздоровался, хотя без ответа. Больше, казалось, в квартире никого тогда не было.

Тетки что-то орали, приплясывали, волосы у них размялись, сверкали глаза, что можно было принять за восторг, о чем он подумал невероятно на миг, хотя и не понимая, чем восторг этот вызван. В его простодушном нутре пронеслось удивление: ведь еще ничего не успел он, ничего не проявил — чем же вызван такой небывалый восторг?

Но тетки были не в восторге, а в ярости. Они скакали перед диваном, потрясая грудями, своими немолодыми грудями, тыча палец, но все не в него, а в нее.

— Я видала! Видала! — кричала старая тетка и все указывала пальцем, все указывала телом почему-то на забитую дверь.

— Кобелей к себе водишь? — кричала вторая и приплясывала, как хорошая старинная ведьма.

— Но позвольте, — сказал он, изображая достоинство, подымаясь с дивана во весь полный рост.

Тетки отшатнулись от него как бы с брезгливостью.

— Нет! — сказали они ему разом, сдерживая что-то, что из них так и рвалось. — Нет уж вы помолчите, дайте нам поговорить с ней по-свойски!

— Сучка! — так же разом крикнули они в полный голос и начали снова плясать, потрясая задами.

Она стояла перед их приплясыванием — встать когда-то она ухитрилась — и старалась, как можно, вобрать в себя все, что в ней было до этого женского, всю свою знаменитую сущность заглотать перед ними на время в себя, чтобы там сохранить, а взамен оставить на себе облик средний, облик без блеска, вялый облик неизвестного рода.

— Я видала! — кричала по-прежнему старая и все казала, все казала — рукой, головой, всей собой, на дверь. — Я с начала все в скважину видела, ты не смей отпираться!

Она стояла и не смела отпираться, потому что это не имело значения. "Так вот чему служат эти многие двери!" — пронеслось у него.

— Где рука была? Я видала! — кричала старая, не стесняясь признаться, что, согнувшись, все время глядела в глазок. И другая ей вторила: — Да, где рука?! — Где, где нога была? — Да, где была нога?! — Еще бы немного!.. — Да, еще бы немного! — Мы тебе помешали? — Помешали? — Прости!

Они уже сами не знали, что выкрикивали, зачем так кричали, и только было ему непонятно — да кто же они такие, какое отношение они к ней имеют, какое право врываться, кричать и плясать, какую силу заставлять ее слушать?

Они все больше и больше взвизывались от крика, от этих выкриков, отдававших восторгом, и вдруг одна из них, младшая тетка, взвилась на особую, невероятную высоту и ударила оттуда моментальной пощечиной.

Девушка сильно шатнулась, но плакать не стала, тетки от этого несколько поутихли, хотя и сделали снова замах в две руки.

— Как вам не стыдно! — сказал он, беря их за локти и разводя вместе с ними эти локти в углы.

И тогда они вместе, с удвоенной силой, бросились в бой на него, будто только заметив. Они кричали теперь на него, подымаясь на новые ступени восторга, грозились вызвать солдатский патруль, который надежно их тут охраняет, и велеть его упрятать без ремня на губу (почему без ремня? Он по-штатски совсем без него обходился, но они о том не знали и упирали в ремень).

— Ты у нас в руках! — кричали радостно эти военные тетки, которые могут приказывать от себя патрулям. — Тебе не выйти отсюда! Будешь помнить, кобель!

И тут она впервые раздвинула их и сказала им твердо: — Пустите.

Они почему-то сейчас же пустили, сразу оставили его и немного примолкли.

— Я сейчас вернусь, — сказала она, уже готовая сильно заплакать, как бы им и хотелось. — Это наше с вами дело, а его вы не троньте. Пойдем, я выпущу тебя из квартиры.

В коридоре и на лестнице она много плакала, говорила, наскоро утираясь, что скоро с работы вернется отец, он военный полковник, горячий человек, и, если тетки начнут про нее рассказывать, он может и выстрелить в них — то есть в них, а не в теток — из своего пистолета, который имеет. А мать у нее не родная — это младшая тетка, ясно, что есть у нее и родная, но у матери свой человек, и своя другая дочь и своя другая жизнь, мать с отцом не живет, а она тут осталась, это комнатка ее, и она в ней может делать что хочет.

Она убежала, оставив его дожидаться себя, и все это было ему непонятно. Комната, в которой можно делать, что хочешь — тогда как врываються, едва ты подумаешь что-нибудь сделать; военный полковник — неужто и верно настолько горячий? Но в общем, действительно, может и стрельнуть — хотя, опять же, откуда у него пистолет? У них пистолетов сейчас не бывает. А главное, чего никогда он не сможет

понять — что же именно вызвало этот визг, этот крик, что такого увидели они между них, между ним и этой вполне уже взрослой девицей, которой паспорт уже разрешил захотеть что захочет, отчего же тогда эта ярость и крик?

Он не мог понять этого и после, спустя заметное время, во время которого он передумал много сильных картин, что могли им совместно и порознь угрожать тут, за этой оградой, как вдруг она вышла к нему с большой сумкой, уже отплаканная, с нарисованным решением на лице, со всем своим блеском, перешедшим в глаза, и сказала спасибо, теперь она знает, она не должна больше тут оставаться, наплевать ей на комнату, с такими людьми, он должен сейчас же помочь переехать ей к маме. И потом, когда он бегал за такси и сидел в машине возле входа с солдатом, и она что-то долго собирала, а потом сама принесла чемодан и рюкзак, чтобы вновь не выписывать пропуск ему, хотя нести за забором их было не близко; и потом, по дороге, принимая голову ее на плечо, но не больше, потому что о прочем, казалось, нельзя сейчас думать (а почему нельзя? Думать можно всегда); и нося чемоданы по лестнице в темном доме на другом краю города, причем чемоданов оказалось немало, они не могли поместиться за рейс и все были нужны для новой, заново перевезенной жизни, таксер же, наглый человек, отказался их ждать без задатка для второго, следующего рейса обратно, а задаток получив, тут же фыркнул и уехал, едва они хлопнули дверью; и потом, разыскивая новое такси, перевозя рейс за рейсом все новые вещи, вплоть до самого вечера, потому что вещей оказалось неожиданно много; и даже последний раз, на этой тихой лестнице ее окончательно решенного дома, куда ее, кажется, все-таки взяли, хотя и ругнули за комнату душой, которых — комнат — теперь, как известно, нехватка, стоя в темной парадной, по которой все спали, в полной возможности наконец совершить и наконец не совершив ничего, только обнимаясь судорожно друг с другом, шепчась о чем-то, вроде того, что не зря этот случай, что теперь они связаны, это связывает, как ничто остальное, случай связывает, который непременно не даром, ругань связывает, крик и угрозы, и особенно связывает это

перевезение; и влипая друг в друга, обнимаясь руками, и коленями обнимаясь, цепляясь за плечо подбородком, расходясь и с маху сбегаешь обратно, пока наконец не расстались, всего до завтра расстались, на одну только ночь — и тогда не мог он понять, что случилось.

С удивлением думал он до самого дома, где ждала, волнуясь, жена его Алла, которой он забыл что придумать на ее на вопросы, но, как бывает в подобных случаях, произошло невозможное — она ни о чем не спросила его, или что-то спросила, что он даже не помнит, легко приняв в объяснение любые слова. А потому, видно, их приняла, что хотела принять, а может, чего-то она испугалась — тоже ведь женщина, человек не железный, но в это не будем углубляться сейчас.

Когда же назавтра он не нашел на работе той, вчерашней своей, перевезенной, и забеспокоился; когда он узнал, как она, не придя на работу, долго возила целый день все обратно, и ей хорошо помогали две тетки; когда он больше ни разу не видел ее с этих пор, а встречая его, воротила назад — вот тогда он, кажется, кое-что понял.

Он понял, как лишь одним своим появлением у нее на пути вызвал ее на такие поступки, о которых не смела она и подумать. И в этом увидел он прежнюю силу, которую было почитал уже прошлой, а она, оказывается, живет в нем всегда, живет посейчас, невидимая, загнанная внутрь, как когда-то в детстве загонялось другое. И по запаху, что ли, по какому чутью (вылезает, может быть, это в глаза?) узнается в нем она, узнается с полслова, даже с полвзгляда она узнается, теми узнается, у кого еще может вызвать ответное дрожание внутри. А так же очень хорошо ее видят те люди, которые в давние годы прошли сквозь нее и, возможно, бежали ее, предали, устрашились всерьез, потому что это настоящая вера, а такой сильной веры легко устрашиться, не видя в себе на нее столько сил и природы, как надо. Потому-то это визжание, это приплясывание, этот вой среди теток — который конечно же относился к нему, хотя и направленный голосом к ней. Эти тетки, опалившие груди когда-то на том же огне, счастливо бежавшие его, чтоб отращивать ляжки и зады по квартирам, чтоб из дома командовать на солдат-

ский патруль, чтоб хранить других, кого удастся, от чего им самим удалось убежать,— они учуяли его меж собой, как собаки чуждого волка, хотя и похожего видом на них. Если такой восторг, такая злоба и такое гонение, такой ископаемый визг на него, как на подлинную веру — значит, это вера и есть, а он к ней приставлен, чтоб ее разносить. Он разделил их, как делит реку волнорез, на две стороны отбросил от себя, стоя в них, и бились они вокруг него друг о друга — обе тетки и она, и, побившись, не смешивались, а опять расходились, вновь начинали, потому что он тут, потому что присутствие его их делило, прошлое делило от того, что еще и могло бы служить, а прошлое, ясно, уже не сумеет, но и оно всколыхнулось его появлением и волнуется, бьется собой о других: "и глухо волнуется все меховое, как будто живое, как будто живое", — вот как пишут поэты, а поэты умны.

Но если при нем они бились, завихряясь, одни о другую, то стоило вынуть его из течения, как не стало двух сил, которым следует биться, как не может биться река о себя, ибо сделалась по-прежнему без него одна река, которой нечего возмущаться внутри себя, не имея посторонних причин, и поэтому наступает затишье и мир, перевозятся вещи с участием теток, и военный полковник никогда не стреляет из того пистолета, которого нет.

10. ПОТЕРЯ ГРУСТНОГО ОБЛИКА

Так он опять очутился со своей старой верой, имея в ней новую мощь, уже прошедшую через отказ и неверие, уже утроенную пониманием себя самого.

Это враз изменило его грустный облик. Даже ноги стали по-другому ходить. Если последние годы он ходил как придется, шел на редкость несобранной, свободной походкой, поминутно весь разваливаясь в разные стороны, а на следующем шаге, не собравшись от прежнего, ухитрялся разваливаться еще сильнее, то теперь и шаг у него стал другой, о чем судить можно было по его следам на земле: он теперь четко

шагал по прямой, оставляя столько фасону внутри своего следа — и колечки, и рубчики, и прямые, и вкось, и какие-то букочки, вдетые в цифры. След откладывался сзади, словно черное кружево, да и оставался позади, тяготея пяткой к пятке, а носки заметно разводя друг от друга.

Многие, конечно, по следу ничего не замечали, думали, пересекая удивительный след, будто просто купил он такие ботинки, которые сами оставляют фасон, которые сами устроены, чтобы навсегда ходили так: пятки вместе, а носки тем не менее энергически врозь. Но и они, не удивившиеся этим следам, которые показывали в первую голову, как начал ставить он себя на земле,— и они увидели это в другом: как он выглядеть стал, как насвистывал, пел, ударял в разговоре, как он сильно ставил во фразе слова, как смотрел уверенно через их неуверенность — в общем, вел себя с ними человеком идей.

Как только вновь появилась в нем вера в свое особое назначение среди прочих людей, стал он, жить по-другому, и все препятствия, бывшие к тому, чтобы жить по-другому, стали для него моментально нулем. Как известно, главным из них была жена его Алла, жена, глядевшая в оба, имеющая сильные уши, чтоб слышать, и что-то еще кроме глаз и ушей, то есть тайное женское чутье, которое много бы могло сделать в мире, кабы не было чувствительным к одному только собственному мужу. Его положение было таким: имея полную свободу проповедовать все, что он хочет, он заснул добровольно среди этой свободы, и, заснувши, дал себя сбить со своей главной линии, и так бы, сбитым, мог навсегда и прожить, но потом вдруг проснулся, будто вынырнул вдруг из себя самого, при этом вынырнул совсем в иное место, оказавшись уже не в свободе, как прежде, уже ограниченным ухом и глазом. А главное, эта несвобода находилась у него в голове, в виде крепости, которую никто не осаждают, а лишь осадите, она и падет, но ее осадить может лишь убеждение, что осада действительно очень нужна. Эта крепость пока костенела в мозгу, оттого что не было у него убеждения, у жены же у Аллы убеждение было, которое надстраивало крепость и всемерно ее укрепляло вокруг.

И когда эта крепость неожиданно пала, все пошло удивительно у него на разнос. Он кинулся в прежнее с неслыханной силой, с невиданной скоростью заводил он знакомства, проводил и выигрывал сотни боев, уже не имея, как когда-то, обиды, что все время ему предлагали бои — а, ну что ж, если бой, получайте разгром; и получали немедленно разгром от него, какого, видимо, от него и желали.

Только одно наложились на прежнюю линию: необходимость увертываться ловко от уха и глаза. Но и в этом нашлась уже не слабость, а сила, уже оказалось, что это не стыд и не тайный обман над слабейшим, над чьим-то доверием, которое он бы не смог обмануть, а мощная, трубная, постоянная победа над чужой ему силой, выражавшей над ним себя с полной властью.

Посылали, к примеру, его в магазин, посылали, скажем, для покупки батона. А он за эту короткую посылку уже и успевал то, что надо, прихватив, разумеется, несколько времени от батона; батон же при этом брал, возможно, не в очередь. В баню отпускали его одного (хоть и редко) — он и от бани мог немного урвать, успевая, однако, вымыть все, что задумано, что потом подвергалось проверке на скрип. А потому успевал, что имел в голове постоянную карту, помнил точно, кто и когда где бывает и когда возвращается в дом, а еще потому, что дома выбирал себе рядом: рядом с булочной есть у него некий дом; рядом с баней имеется; с парикмахерской тоже; возле места работы — не один и не два. Так что: в баню? — пожалуйста; ну, слегка задержался, скажем, товарища — мог бы он встретить? Мог заняться с ним слегка разговором? Да, мог. И хоть это не похвально, но вполне объяснимо; а внутри уже трубы, внутри торжество.

И, казалось бы, всякое могло с ним случиться, то есть, возможно, срывалось бы от разных причин. Но и тут он, если хотело сорваться, находил в себе силы да и удерживал это от срыва, всем, чем удерживать только он мог. Мог он словами — хорошо мог словами, мог и другими убеждениями, которых немало. Очень сильно он в этом уже наторел, но, вернее сказать, и не наторел, а другое: просто виделась главная впереди ему цель, цель светила, как ясное солнце

вверху, и никаких сомнений в ясности не мог допустить, уже отторгнутый от нее аж на многие годы, уже изведавший на себе ложь иного, ложь отнимания его от этой цели, которой призван он честно и достойно служить.

И если, допустим, говорила одна, живущая в доме как раз возле булочной, будто решила, что с нее уже хватит, после последнего раза решила, что так и останется тот раз последним, то не спрашивал он, почему такое глупое решение, не пытался уговорить, а лишь сейчас предлагал: ну хорошо, ну пускай ты решила и пускай решение твое неизменно, но давай предположим — будто этот, сегодняшний раз (тот, что будет), был еще до решения, ибо я о решении этом не знал, и вот ведь вырвался же к тебе (возле булочной) — а потом решение мы поставим на место. И, слегка подумав, она брала свое решение в обе руки и относила его, как барьерчик, назад, после же ухода его — воздвигала опять; и в этом, отодвинутом месте, ненадолго он помещался, на сколько нужно, чтобы он развернул себя для них для обоих, имея задание все же спешить. Надо сказать, однако, что больше он не пробовал повлиять на решение, считая, должно быть, что с нее уже хватит, что тут послужил хорошо и довольно. Приходилось, естественно, находить новый дом, расположенный так же удачно, у хлеба. Дом как-то, в общем, находился легко.

И в любых других положениях — в поезде, скажем, отдыхая на даче, находясь безотлучно при жене своей Алле, ухитрялся он делать свое главное дело. Даже отпущенный к вечеру в озеро, искупаться в сумерках при ее наблюдении, умел он, отойдя ненадолго полоскать свои плавки, заметить в полной темноте нечто светлое, в чем немедленно различал он стоявшую женщину. И тут же, сказавши вполголоса несколько слов, узнав, что зовут ее странно — Валеркой (Валерия, что ли? - ну да же, Валерка), умел он сейчас же ее обнимать, на что она тоже обнимала его, и стремительно следовало все остальное, вплоть до самого полного, прекрасного конца, с усиленным вглядыванием после друг в друга, с ощупыванием, ошариванием пальцами по лицу и по телу — какой ты? а ты какая? ты красивый? а ты? и я красивая тоже — тогда как и светлое уже не белелось, настолько полная

стояла всюду тьма, и темные, многие, проходили люди в полуметре от них, и где-то вблизи властным голосом Аллы приглашали его для расправы над ним. И, условившись наскоро с нею о встрече, завтра не мог он на встречу попасть, так как не был отпущен уже ни на шаг, а больше не мог ее найти никогда, не имея понятия о лице и о прочем, только на ощупь цыганские серьги, только большая на ощупь, под пальцами грудь, однако пальцами нельзя ее искать среди женщин, да и может свободно получиться ошибка; и она никогда не узнает его, ибо ласкались, не видя друг друга, в полной темноте окружающей жизни.

Но и это не огорчало, потому что его получили сполна, а в себе дальнейшем был он прочно уверен: вот отпустят его на минуту, он пойдет, куда захочет, и ноги сами приведут его к женщине, с которой будет немедленно все, что захочет, — потому что такое его назначение.

11. ВСЕ, ЧТО НЕ МОЖЕТ СБИТЬ С ТОЛКУ

Веру же в него, в это назначение, ничто не могло уже в нем изменить. Не могла даже встреча с одним очень старым и печальным человеком, который узнал в нем союзника и, узнав, начал жаловаться страшными, жалкими словами неверия, наступившего в старости.

— Меня назначено было узнать всей Европе, — говорил старик и слегка выпрямлял грудную клетку и плечи. — И я старался, но я не могу! Я всю жизнь старался, мне без малого семьдесят, больше я не смогу — и всего лишь полгорода!

Не могли изменить его истинной веры даже сильные нападки людей на него, которые догадывались об одной только сотой, но и сотая эта их уже возмущала, как ни странно — таких же мужчин, что и он, а особенно это возмущало женатых, как неверность собственной жене его Алле, которая втайне тоже им представлялась в виде сладкой малины, то есть эта неверность, но которой они не умели устроить — из-за слабости духа и веры в себя.

— Если женился, надо так и держать, — говорили они и старались держать.

— Надо взять себя в руки, — говорили они и, пыхтя, огорчаясь, все же, кажется, брали.

При этом, как водится, не бывало без сплетни.

Конечно, рассказывали про нашего человека, много рассказывали, говорили с захлебом — вот, мол, парень, подумайте только! Востер; и с сомнением говорили, не зная, что лучше, можно ли это, не зная, вообще; честные говорили, осуждая за ложь, а если в согласии между двумя, то и пусть — то есть с одобрения жены его Аллы, в каковом, разумеется, сомневались, что есть; в ухарском между мужчин разговоре часто рассказывали как отличный пример, а то и присваивали на себя его случай — правда, может, чтоб ярче и сильней был рассказ, который от длинных расстояний тускнеет; или, хвастаясь честно, что лично знаком, чем кидая, однако, немалый и отсвет — в сторону себя, в свою мужскую сторону, которая несколько нуждалась в дополнительном освещении; одним даже простеньким рассказом без обычного осуждения поднимали себя в своих несильных глазах; напротив, хвастали своим осуждением, не имея в себе его, сколько хотелось, сколько, по их представлениям, от них ожидали, тогда как, возможно, и не ждали от них; осуждали его, опасаясь примера, за своих, за домашних, опасаясь людей: неровен даже час, что уже не пример, что реально сделает именно он, сделает это с одною из них, одной из домашних при нечаянной встрече — с дочерью или, не дай Бог, с женой (они слабы, наши жены, как мы сами слабы), может, также с сестрой, хотя с сестрой все же лучше, наши сестры касаемы меньше до нас, может, ей даже нравится, дело ее, связи наши с сестрой стали нынче бледнее; опасаясь также дружбы с ним или силы рассказов для своих, для собственных, для домашних мужей, которым сами потрафляют не слишком, которые могут узнать вдруг такое, чего им в домах не являлось никак — при этом часто не являлось нарочно, тогда как могло бы явиться и им, но для поддержания тихих представлений о доме, с моралью на уровне радиопьес, являлось их женами втайне не тут, то есть не с ними, тихими, являлось,

а с теми, кто может, с такими же, собственно, как и наш человек, — а мужей полагается от того охранять; со злобой рассказывалось тем, кто не делал успехов, то есть со злобой бедного к тому, кто богат, хотя бы богатство приобрел себе сам, и любой ему может последовать в том, но, однако, не хочет, страшится богатства, опасаясь при этом утратить что-то прежнее, что заставит утеривать это богатство; с яростью рассказывалось многими, во всей душевной узости нежелания видеть иных, чем он сам, кто не лепит себя, как с иконы, с него, кто, вернее, не лепит с одного пьедестала; пуще ярости, полные хорошего гнева были рассказы людей другой веры, искренней веры в то, что надо не так — и слава этим людям, пусть живут в своей жизни, как себе представляют, пусть утверждают свою иную веру, только не нашлось бы других, недобросовестных, многих, которые могут использовать это, как им надо сейчас.

Доходили разговоры до людей официальных, людей, приставленных все охранять — все, что скажут им свыше, от чего, тоже скажут. Но люди официальные, до которых это доходило на заводе, были при этом — как будто не доходило, так как не было сигнала от его от жены.

— Не было сигнала? — говорили. — Ну и все.

— Конечно, неплохо им бы тоже заняться, чтобы еще один мужик остепенился, но не надо, — говорило это официальное по-простому, хотя и не думая внутри себя честно, будто нужно действительно мужику степениться.

А будучи само в известном месте мужик, то и вовсе не стремилось к степенности для себя, напротив, втихую разворачивалось, если только удастся. Но только втихую, то есть с полной гарантией никому не узнать, например, по заданию находясь в другом городе, в отдаленной области, подчиняемой другому начальству, меж своих, официальных, кому огласить было б тоже нельзя, и то непременно один на один, официальный на официальную, расходясь в одиночку; или, напротив, среди самых других, кого называли "простой человек", кто и не вздумает оглашать в недогадке, к тому же лучше не ведали б, с кем это было, даже по имени лучше не знать, имя при этом не грех заменить, откликаясь времен-

но на Илью или Ваню; наконец же, имея закладку за ворот, чтобы в крайности можно свалить на нее, на эту старую, русскую, прозрачную причину, которая считается почему-то причиной, хоть никто не насиловал заглотать ее внутрь, тем не менее можно кивнуть на нее и немного да сбавится, и немного поймется, даже этим, официальным, дозволяют кивнуть, потому, вероятно, что и они народ русский.

Так что только отсутствие тревожных сигналов временно мешало разговорам стать сплетней. Подумать только, какие силы могли бы обрушиться на него, что охраняло от них такого мощного человека! — только то случайное обстоятельство, что жена его Алла не пришла сказать языком пару слов в некой комнате, где бы их услышали, — наконец услышали! Хотя и слышали часто, да все не от Аллы, а только от Аллы могли услышать, как фольклорная дверь в золотую пещеру, отворявшая себя на одно только слово, впрочем, нет, сравнение это неверно, нету в старом фольклоре сравнений тому, беден он, бедный, ему такое не снилось — так как не только известное слово, но и слово, сказанное лишь одним человеком, только оно могло быть услышанным и могло сдвинуть глыбу, хотя не однажды глыба слово слыхала, слово перебрасывала меж себя, обсуждала, уже приготовившись им двинуть себя, однако все-таки никогда не сдвигала.

Правда, сигнал мог прийти не оттуда, он мог прийти и с другой стороны, то есть, в общем, сторона была та же, женская все же была сторона, хотя и не требовалось, чтоб при этом — жена. И опять же, подумайте, — надо только подумать! — какую силу могла бы на него вдруг обрушить, и кто? — какая-то прочая, частная женщина, двумя своими, к примеру, словами!

Но не шла в эту комнату его жена со словами, может, не шла, потому что не знала, то есть не знала еще про него, очень умело до сих он скрывал, хотя и совсем не из страха перед ней или глыбой; не шла и другая, частная женщина, чтобы обрушить на него свой сигнал. А потому не шла, хотя и знала про запас этот путь, эту защиту для себя понимала, что ни одна из тех частных не нуждалась в защите, договорно это было, для нее в большей степени, как считал (все же)

он. И если которая этого с ним не желала, то и он не желал, отступая назад. А если которая все желала продолжить, желала пока его себе не прекращать — то и он не прекращал себя ей, хотя бы и решил, что пора уже, хватит. А которая желала бы закрепить его вечно, то навечно крепить его было нельзя, о чем не скрывал он с самых первых же слов, потому хотя бы, что не вечно ничто, а самое долгое закрепление с ним уже состоялось, о чем он тоже никогда не скрывал, хотя это портило часто ему. К тому же, всем про него было ясно, что нельзя прикрепить его к себе, невозможно — как нельзя пожелать себе клуб или баню, как театра нельзя захотеть, чтоб владеть ими лично, чтоб смотреть одному на огромный экран, чтоб никто больше в мире не пускался глядеть; как нельзя пожелать себе трактор на грядку, на личную, одинокую, на грядку под окном, или, скажем для пущего смысла, — комбайн.

И хоть нападки его не страшили, не страшили сигналы, что могли все же быть, но однажды вышел один редкий случай.

12. ВРЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Было это зимой, позвонили ему прямо в цех, разыскали по фамилии: голос мужской.

— Надо бы нам потолковать, — сказал в телефон этот голос. — Дело есть.

— Кто вы сами-то? — спросил он, не зная, что за дело возможно до него у мужчин.

— А я потом назовусь, приходи в проходную. Правда, есть дело, я тебя обожду. Ты когда кончаешь?

Он кончал уже скоро, так тому и сказал, голос был неприветливый, долго и подробно они объясняли, как друг друга найти, то есть шапки какие сидят на башке и какие надеты снаружи пальто, потому что без шапок, без наружных пальто никогда бы не отыскивал человек человека.

И все же, зная достоверно про шапки, он не заметил того человека, потому что люди валили валом, он сам валом меж-

ду ними валил, время было конечное и еще сверх того, когда уже все устремляются, главная масса, которая моет поверхность руки, слегка снимает рабочий халат, замыкает его, делая это уже по звонку, тогда как раньше, точно в самый звонок, в проходную давился один шалопаи, что и руки помоем загодя до звонка, и халатик повесит, и мелькает у будки, чтобы, выхватив пропуск, мчаться бешено вниз; посреди шалопаи найдись еще можно. Но человек этот сам вдруг возник перед ним, и он увидел, что даже в пустой проходной, без людей, он не смог бы его отделить и узнать. Потому что как ни описывай с голоса цвет, а шапка шапке, разумеется, рознь, и пальто друг другу та же самая рознь, он искал бы их по своим представлениям о возможных знакомых, на своем на шапочном уровне, что ли, искал, имея шапку новую и красивого вида, у того же были они, как ему и сказались, но при этом были удивительно старые.

— Здравствуй, — сказал ему этот человек, возникая. — Ну вот, познакомились. Я Николай.

— Очень приятно, — сказал он в ответ, — Николай.

— Пойдем налево, походим, а то народу тьма, — предложил Николай.

— Пойдем, походим.

— А я Ленки Новиковой муж, — сразу же сказал Николай, улыбаясь лицом. — Помнишь Новикову, Ленку?

— Нет, не помню, — отвечал он, так как верно: не помнил. Николай заметно огорчился.

— Да вспомни, Ленка же такая, толстая такая, Новикова, в прошлом году вы гульнули? Ну, может, Лялькой ты ее называл, она, стерва, любит, когда Лялькой зовут, хотя какая же Лялька? — Лялька это кто?

— Не знаю, — сказал он. — Наверное, Ольга.

— Ну да, какая же Лялька? А любит. Ну, вспоминаешь, что ли?

— Да, помню, -- проговорил он. — Теперь действительно помню.

— Вот. А я ее муж, — сказал Николай весело.

Он оглядел Николая, ничего не сказав, так как что ему было сказать? Просто ждал.

— Чего же ты молчишь? Я ведь муж ее, верно, — повторил Николай, словно еще веселей повторил, словно не веря в себя, что он муж.

— Ну и что? — сказал он без интереса. — Ну и муж.

— Как ну и что? А чего вы гульнули? При живом при муже гульнули, от меня? Объясни.

— Это дело ее, у нее и спроси. Мало ли с кем она гуляла еще. Так у каждого пойдешь выяснять?

— Не, больше ни с кем! — сказал Николай, оглядывая его с настоящим удовольствием. — Только с тобой гульнула, ты смотри какой видный из себя, она с другим бы не стала, а и то потом каялась. Она у меня не гуляющая, ты бы не подвернулся, так и все, и осталась бы в прежнем законе.

— Да ведь не было мужа, я что-то не помню? — сказал он, про все хорошо вспоминая.

— Нет, был. Как же так, или она не говорила? Срок мне дали по-глупому, а вообще-то я был.

— Может, и говорила. Я не помню.

— Как не помнишь? Про мужа не помнишь? — Николай удивился и забеспокоился. — Ну и гад же ты! Бабу помнишь, а мужа забыл!

— Нет, я не забыл, просто я не интересовался мужем. Муж — это дело ее, я считаю, — объяснил он спокойно. — То есть мне ведь не муж у нее интересен. Если сама на меня согласилась, значит, так захотела, а при чем же тут муж?

— Как при чем? Да при бабе! Муж — он ведь живой, вот он я и есть, из тела. Ты бы представил, может, ты не представлял?

— Да нет, я представляю, только что представлять? Пусть она представляет, она свои дела знает лучше, что я в них буду соваться?

— Ага, — сказал Николай.

— Ты ведь сам посуди, по себе, может, знаешь, — разве мы спрашиваем у них про мужей? — Он стал быстро с убеждением говорить Николаю, как другу. — Ну, вспомни. Мы до этого касательства не имеем. Мало ли что у нее было раньше, до нас.

— Ага, — сказал Николай. — Раньше?

— Некоторые, правда, не понимают. Расспрашивают про старое, кто был первый, да как, да почему, как дошло до меня. По-разному, правда, бывает, расспрашивают. Я еще понимаю, если ты собрался жениться и теперь выясняешь, кто ей был знаком. Но и то — и то это, по-моему, нетактично.

— Ага, — сказал Николай. — Значит, нетактично?

— Конечно, нетактично. А особенно, если совсем настроены для другого. Если не жить дальше вместе, а только друг другу сейчас послужить. Ей самой это нужно, привлекательно в тебе на сегодня, даже больше для нее, а не для себя, в основном для нее, постарайся и сделай, так нет, не могут, начинают расспрашивать, поучать еще начинают иные: да как же ты можешь? При муже, при живом? — а какое нам дело? Это стыдно расспрашивать. Вот, к примеру, пословица...

— Ага, пословица? — сказал Николай и ударил его, моментальным движением сунул назад, куда попадя, попадя тем не менее точно в поддых. Он очень удивился, скрючился ненадолго, но тут же расправился и дал Николаю по морде. Был он сильнее, кормленее Николая, но в нем не было главного, что потребно для драки — злости не было в нем на него, на Николая, было только огромное одно удивление, а на удивление драки не взять. Страха не было тоже, от какого от страха можно повод увидеть для злости и злость распалить, потому что у страха глаза велики.

Все же недолго они помахались, тыча кулак в неприятельский нос, однако носы не задели ничуть, а раз не задели, на том и устали, приняли руки назад, на себя.

Эта мгновенная драка сразу сильно их сблизила, им бы надо для дружбы сейчас закурить — по законам великой литературы мужчин, каковая есть литература в избытке, а мужчин тем не менее истинных нет, которые закуривают так, как положено, и когда им положено, в нужный момент — но они не закурили для дружбы никак: он, не куря, не имея привычки, хотя это портило ему как мужчине; Николай неизвестно почему, но, однако, возможно, давно не читая замечательных книг.

Драка состоялась на обычном уличном тротуаре, на достаточно людном в это время пути. И, как часто бывает, прошла

очень тихо, без свистков милицейских, без повязок дружин. Он уже замечал, что обычное людное место для подобных вещей приспособлено лучше пустых. В пустом всегда окажется кто-то, кто приставлен к нему проходить и следить, потому как пустое и опасное место. А в людном, шумном, где полно пешеходов, никто не следит за безопасностью их одного от другого, хотя при этом кое-что и следят: чтобы их, наблюдают, не переехало скопом, чтоб, напротив, трамваям не мешали ходить, чтобы штрафы платили, не давили витрин — да и то витрины иногда все же можно.

— Ладно, извиняюсь, — сказал Николай. У него была славная детская привычка время от времени лизнуть между губ быстрым остреньким языком и опять тут же спрятать его за губу. — Ты теперь мне свой человек, я не буду.

И тут он тоже почувствовал вдруг, что и верно, сделался Николай ему свой. Еще недавно не было такого человека на свете, позвонил, объяснился, вынырнул в старом пальто, говорил как-то странно, лизал между губ, набивался на драку, но не кончил ее и увял посредине, потому что, касаясь до него кулаком, тут же сблизился с ним, тут же сделался свой.

— А где познакомились? — спросил спустя Николай, слегка замерев от интереса и боязни, что не скажет.

Познакомились?.. Где же познакомились? Нет, я не помню, — медленно проговорил он, глядя внутрь себя обратными глазами, сиюсь увидеть отпечатанным тот момент в голове.

— А ты бы вспомнил, — сказал Николай и глотнул. Они вступили уже на самую грань откровенности и остановились в нерешительности у нее на краю.

— Я попробую, но, честно, ты знаешь, не помню. Помню только...

— А? — сказал Николай быстро.

— Да, я кое-что помню, — сказал он отдельно и мгновенно охватил Николая глазами, подавшегося, в странной улыбке под носом, куда недавно, нацелясь, он бил кулаком, подавшегося в некотором ученическом забегании, желании забежать в такие области отношений людей, в какие обычно себя не

пускают. Охватив Николая, он понял, что можно. Рассказать отчего-то он очень хотел.

— Ну и чего? Говори откуда помнишь, — повторил Николай, чтоб ему облегчить, словно подталкивая его в разговор.

— Да, — сказал он. — Не помню, где, но помню, что мы по-хорошему сразу же с ней уговорились и пошли искать такси.

— Сразу? — с трудом сказал Николай. — И это... такси?

— Нет, конечно, не сразу. Сперва... ты прости меня? (Николай усиленно закивал.) Сперва, как всегда, целовались немного, обнимались хорошо где-то в сквере, она сразу очень помягчала от этого, от целования; вот тогда и решили поехать. А такси нигде нет, на стоянке люди, время было вечером, все, наверное, ехали по кино и театрам, а я спешу, сколько я могу? Час, не больше, за мной следят в оба глаза, ты знаешь; прошли мы вперед по улице, останавливали все зеленые, она, смотрю, тоже всю останавливает, увлеклась, что ли, этим, выбегает перед самые такси, остановит, что-то там поговорит, а такси покачают головой и уедут. То ли в парк, то ли смена: у них всегда в самое нужное время заправка и смена, это они, видно, мстят пассажиру — почему целый день не берет их, и ночью, что им, ясно, обидно. Я тоже бегаю, по другой стороне. И вдруг я поймал, а куда надо ехать, не знаю, он посмотрел на меня с удивлением, но я вынимаю и дал ему сразу — он тогда успокоился. И вот уже поймал я, жду, кричу ей, зову руками, она подошла, обрадовалась, а сама не садится.

— Не садится? А чего? — спросил Николай с восхищением.

— Стоит, улыбается, сама качает головой и не садится, почему — непонятно. Тогда я обнял ее и как дотронулся до груди... ты прости меня (Николай усиленно, жадно опять закивал, разрешая), тут она вздрогнула и сразу же села. — Скажи ему, куда надо ехать, велю. И она сказала. Едем. Вдруг, недолго проехали, как она меня спрашивает: — А ты где живешь? — Я сказал. Помолчали. — Нет, говорит, ты поедешь домой, а я провожу тебя и уеду к себе. — И таксеру называет мой адрес. Таксер повернул и поехал ко мне. Я удивился, стал ее уговаривать. Велю таксеру вернуться, а таксер,

хотя и принял тогда от меня, но меня не слушает, слушает ее. Тогда я кинулся снова ее обнимать, и она неожиданно опять согласилась и сама велела ему повернуть. Тот удивился, но опять повернул. Стали подъезжать, она опять говорит: — Нет, нет, ты должен быть дома, поезжайте к нему. — Я говорю: Нет, только к ней, не слушайте ее! — Как же, — говорит. — У тебя сейчас междугородний разговор, тебе домой должны позвонить из Москвы. — Придумала, конечно, для таксера, а я не могу ничего возразить. Таксер остановился, положил на руль голову и говорит: — Я подожду, договоритесь сперва, я же не знаю, кого из вас слушать, по правилу мне надо слушать от дамы. — И не едет. Я снова обнял, хорошо ее обнял и поцеловал на виду у таксера, до самых до зубов процеловал ее, помню, и тогда она сразу помягчала и сказала окончательно ладно, уже для таксера. Так мы приехали тогда к ней домой.

— На Полтавскую, да? — спросил опять Николай, словно забегая всем собою вперед.

— Может, не надо? — устыдился вдруг он, моментально подумав: что же это он делает? Верно, так не положено?

Но весь уже захваченный, весь протолкнутый Николаем в глубину откровенности, в тьму ее тьмущую, от которой всегда был один только вред, он пустился рассказывать, как вошли они в комнату, как она что-то спешно сняла со стены, чему не хотела дать висеть перед ним, а он не стал дознаваться в своей деликатности; как они набросились, как они прямо ринулись с ходу целовать один другому во рту, прислоняться все ближе, втискиваться кинулись всем собою в другого, словно это когда-нибудь было возможно, и все при этом отчего-то стояли, все стояли, не садясь и не делая покамест другого — почему же стояли? Под самой под лампой, никому не подумалось тогда, почему, до того это было согласно, вдвоем.

— Да разве она целоваться умеет? — вдруг сказал Николай, удивляясь, с обидой. — Она же этого никогда не могла. Мы гуляли еще, говорит: научусь, да тогда не успела, а когда поженились, я учить перестал — ни к чему это ей, я и так обойдусь.

— Как же ни к чему? — спросил он, не понимая.

— А так — для кого же? Научу, станет других целовать. Нет, я не стал ее учить, лучше пусть не умеет, — сказал Николай.

— Да ведь вот, вроде может, — вспомнил он с удивлением и опять, повернувшись, оглядел Николая.

— Зря, выходит, не учил, — сказал опять Николай с сожалением, обдумав все дело. — И сам бы с ней нацеловался.

— Да, — сказал он. — Да-да.

И снова, втянутый дальше самим Николаем, он вспомнил, как неожиданно резко она оттолкнулась и с восклицанием: нет! — стала бегать вдоль комнаты, натываясь каждый заход на него, но это наталкивание об него никак ей не вздрагивалось, перестало начисто отзываться, как нуль, будто он уже был в ней самой, у нее внутри, в руке ее был он, и, когда она себя приобнимала за грудь — это он ее в ней обнимал вместе с ней; а когда она хлопала себя по бокам — это он ее хлопал по хорошим бокам, это он беспрестанно вращал языком, целовал ей во рту ее губы друг дружкой, это он изнутри ее двигал ногами, делал шаг, ограниченный узостью юбки, он шуршал ей коленом, скользю о другое, и никакой он снаружи не мог быть сильнее, чем действительный он, уже забравшийся внутрь — и откуда мы только забираемся в них? Через рот, прикасаясь, дуя духом своим? Или мигом запрыгиваем сквозь расширенный глаз? И с этим с ним, уже запущенным вовнутрь, она усиленно боролась, пробегая по комнате туда и сюда, он же под лампой был тут ни при чем, и только тому, в себе, она кричала, отказываясь: нет, ни за что! — а его, наружного, между тем спокойно на бегу задевала.

Тогда он взял ее среди бега руками и сквозь отталкивание, сквозь несильные крики отказа приостановил ее в комнате, прочно обнял вкруговую и соединился с тем внутренним, что забрался откуда-то прежде него. И перед ними, соединенными, взявшими дружно ее изнутри и снаружи, сквозь нее протянувшими руки друг другу, — она не смогла удержать себя дольше. И она окончательно перед ними дозволилась, даже смиренно сама забегала вперед и только все говорила

про себя что-то смутное, что-то непонятное выговаривала вслух:

— Котик! — говорила.

— Нет, нет!.. — говорила.

— Да, — говорила. — Да, Котик, да!

— Мой. Мой. Мой! — говорила; что в другие времена было глупо и стыдно, но она выражала необычный тот факт, что считала его на сегодня своим, а известно, что женщине так приятнее думать — нет, при этом как будто его узнавала, будто утверждала в столь близком соседстве, будто себя убеждала, что именно он.

— Это меня, — неожиданно сказал Николай, плюнув так много и так далеко, словно слюна фонтаном пошла через рот.

— Как? — спросил он, до крайности пораженный. — Тебя?

— Да, — сказал Николай. — Это точно, меня. Так она меня при этом звала — Николай, то есть Котик, но только при этом. Всегда звала, а теперь перестала.

Он стал на месте, с удивлением глядя Николаю в глаза.

— Хорошая баба? — спросил Николай, в момент пролизнув языком и опять тут же пряча его за губой.

— Да как сказать? — не сразу откликнулся он, все еще пораженный, и слегка затруднился, стараясь быть точным. — Я ведь столько их знал... Если честно, то я не могу так сказать. Но, конечно, все-таки неплохая. Да, — повторил он. — Неплохая, но странная.

— Хорошая баба! — упрямо сказал Николай. — Только стерва. А и ты тоже гад, вредный ты человек.

— Да чем же вредный? — удивился он снова. — Что я вредного сделал?

— А зачем обнимал? Она бы пробегалась да и дальше не стала, — сказал Николай с убеждением.

— Нет, ей было уже никуда не уйти. Если б я не помог, ей бы самой стало хуже. Как только мы в комнату вместе зашли — это было сразу окончательно все.

— А зачем тогда ехал? Ведь она не хотела, — сказал Николай, набирая все больше из себя убеждения.

— Не хотела, не села бы, — ответил он просто.

— И не села бы, сам ведь ее обнимал. Ясно, ей тебя было не выдержать, она тогда и села.

— Да ведь этого только от меня и ждала, то есть чтоб я обнимал и слегка уговаривал.

— А зачем познакомился? Зачем ты ей себя показал? Вон ты какой, видный из себя, кормленный, вредный ты для женщины человек, — сказал Николай, напирая на него словами.

— Да ведь и другие есть такие же, еще получше, чем я, — возразил он с улыбкой как будто дитяти.

— И те тоже вредные, все вы вредные, а особенно ты, — сказал Николай серьезно, кинув на него ярким глазом, как фарой. — Надо тебя уничтожить для пользы, да я не могу.

— Брось ты, — сказал он, смеясь в полный голос, радостно смеясь, в каком-то сильном удивлении на себя, в тайной дрожи. — Да какой же я вредный? От меня только польза!

— Да, надо бы тебя уничтожить, только я не могу, — повторил Николай, сунув руки в карман.

И снова он засмеялся, как бы довольный собой, как бы довольный словами Николая к нему.

— Да, — сказал Николай очень твердо и быстро. — Я тебя уж порежу немного, ты меня извини.

Тут мгновенно он понял, почему он смеялся. Тут возникла улица, окружив их собой. На улице шли пешеходы, как и в тот раз, при драке, и как в тот раз, никто не подумал бы страшное, потому что ведь тут не какой-то пустырь. В то же время прохожих в соседстве не шло, как бывает, — они удалились вперед, они шли, нагоняя, но еще далеко, основная масса двигалась по той стороне; как и бывает это в очень людных местах, вокруг него с Николаем была небольшая, временная пустота, и в этой пустоте можно было временно, без помех, сделать все, что хотел, на что в кармане оказывался подвернувшийся нож. А после нахлынут и заполнят пространство, сделают шумное и нестрашное место, только времени может оказаться довольно, главное вовремя сделать решающий взмах, вроде мячика в опыте с жидким азотом: киньте мячик, голубенький, с силой об пол; кинули? Что? —

только весело прыгнул; опустите его ненадолго в азот, в страшные минусы его опустите, после оттайте немного и бросьте: снова подпрыгнет, голубенький, только пониже; но если кинуть немедленно, достав из сосуда, — то и все, то расколется сразу на хрупкие части, из которых уже не составить опять, — то есть все получается в точное время, то есть время работает вместе с ножом, вместе с морозом, работает время, а точнее, момент; и значит, так же, как нож, надо его отвернуть от себя, надо всеми руками, всем собой надо вытолкнуть себя из момента.

И эта улица, в которой ртутные только что зажгли фонари, и они разгорались с натугой, не сразу, проходя на вылетах, высоко, все цвета, от лилового, тусклого, до своего основного, зеленышного, яркого, мертвого, все в разных стадиях своего разгорания; и мотоцикл инспектора, стоящий без хозяина, у которого тем не менее замедляли почтительно личный бег, — такси же при этом пролетали легко; магазин готового платья напротив с темно-серым угрожающим названием "Максим"; недалекий парадничек, что они миновали, где сейчас тепло, несмотря на погоду, куда забрались три юнца к батарее и слушают, слушают свой карманный транзистор, а он исправно выдает, что им надо, потому как умеют извлечь из него, из каждой детали его извлекают и все присвистывают сами, все притопывают на его эти звуки, иногда выговаривают непонятное слово, иногда посмеются, приобнимут друг друга, наклоняясь к тому, у которого музыка, — и весело им, и не холодно, и свободно; и блестящие, словно смазные, трамвайные рельсы, и старухи с корявыми ногами под собой, через рельсы, без правил идущие, где захотят; и газета возле него с заголовком: "Человек обществу — общество человеку", которое очень могло оказаться вокруг, чтоб сумел человек ему слегка покричать, а чтобы общество ему, человеку, заслонило карман с наведенным ножом; и некий гражданин лет за тридцать, в модной шапке и лысый, то есть в лысине, явно выходящей за шапку, бегущий напротив за некрасивой девушкой, но молоденькой, а губы его были сложены так понимающе и так иронически, что по ним читалось: "Да, я знаю, что лысый. Ну и что? А и

ты, погляди-ка, сама хороша” — все эти картины появились на улице вдруг, чтобы стать, возможно, последними, что увидят глаза.

Очень ясно поняв, что он может теперь же, тотчас помереть, он мгновенно припомнил, что на прошлой неделе, как всегда, вырвав время от своей чистоты, то есть время от бани, позвонил он в один, хорошо ему известный рядом дом, где недавно бывал он, неделю назад, и как ему открыли, он вспомнил, и сказали приветливо, ласково сказали, что она умерла, без притворного горя — потому что соседи, потому что и он неизвестно ей кто. Как же страшно сделалось ему от того, что случилось за эту неделю, на которой оставил он ее жить одну, чтобы дать себя прочим, а после вернуться, потому что для каждой тянул ее нить, вдоль по пикам тянул, то есть когда они виделись — это и пик, а провалов между как будто и нет, с расстояния было бы их не видеть, им потом представлялось это все непрерывным, словно жили они непрерывно вдвоем, а с другими тянул по соседним, по сдвинутым пикам, и опять же помнил для каждой единую нить, и жили совместные эти внутри него рядом, и не смешивались, не переплетались, вились по одной, но вдруг провал у одной обнажился, она в отсутствие его оборвалась, то есть в отсутствие, которого, собственно, не было, так как, признав его, надо разбить непрерывность других.

После этого долго он очень боялся, что позвонит кому-нибудь, а ему снова скажут, ласково скажут, что и та умерла. Стало как бы всеместно для него вдруг возможным, тем самым коснулось и его самого. Прежде не было смерти в столь близком соседстве; конечно, и раньше уходили они от него, уходили из дела его, отпадали, часто прежде, чем это он захотел, то есть как бы и это была тоже смерть, как та, у озера, например, в темноте, та, которой не мог разглядеть, как ни пялил глаза, потому что и белое уже не белелось, только было на ощупь все, что было на ощупь, только мягкое все, что умеет быть мягким, только женское там, где его ожидал, — и вдруг, навсегда, безвозвратно потерянная в тот же момент, и не найденная даже, а всего лишь угаданная — это ли не смерть? Но и это не смерть, так как просто ушла

от него, оставаясь жить рядом, куда, к сожалению, ему не попасть, но “куда” это все-таки есть, существует, и она существует на этом “куда”, как существуют и все остальные, которые уходили из него, оставаясь жить рядом, просто откладывались, отпадали, слетали, просто отваливались от него, как пласты.

Но эта, у бани, умерла навсегда, умерла безвозвратно, и уже ее нет ни в какой дальней жизни. Если бы умер близкий, кровный ему человек или друг, то тогда в нем болело бы все духовное, он страдал бы простым, преходящим страданием человека; тут же стало особое, которое ничем не перебить, на которое невозможно ответить никакой болью духа — только было в руках его нечто твердое, округлое, вполне ощутимое, дававшее ясный ответ на любое движение, и вдруг растворилось у него из-под рук, моментально исчезло, превратившись в ничто, а вернее, обратившись во что-то отвратительное, обратное тому, что было, так как было живо, тепло и прекрасно; как бы распалось у него под руками, и руки не улавливают, не улавливают под собой ничего, все расплывается, как старая подкладка.

“Неужели и я? Неужели умру?” — пронеслось моментально у него с изумлением.

Он не представлял в своей вере для себя личной смерти, так как знал очень твердо: ему нельзя умереть. Единственное, чего нельзя для него и для дела, к которому он приставлен — это нельзя ему сделать с собой настоящую смерть. Конечно, любому человеку обидно, если вдруг появляется перед ним его смерть, если он понимает, что пришло его все, жизнь сглотнет его и пойдет себе дальше — добрая, улыбающаяся, с веселыми людьми и хорошей погодой. Но находят оправдание ей в своем деле, продолжателей жизни за собой оставляют, которые (верят) их дела доведут, хотя бы дела и замолкли на время. Он же, в деле, которое счел своим главным, не сумел бы утешить себя никогда, ибо дело то было сплошным продолжением, только повторением себя оно жило, перестав повторяться, умирало само. А единственное, чего он не мог допустить, — было полное прекращение его упорного дела, полная гибель с ним самим его веры. Было бы это

приятно врагам, ибо что можно худшего сделать врагу? Пережить его в жизни — его самого да и все его дело. Последнее было бы всего огорчительней ему на том свете, которого нет.

Все это мигом у него пронеслось.

"Ну уж нет! Не бывать", — сказал он твердо себе, повернувшись лицом к Николаю.

И тут между ними разыгралась моментальная сцена, как в кадре кино.

— Уж ты извини, — приговаривал в запале Николай. — Я тебя порежу немного, уж ты извини. Не до смерти порежу, извиняюсь. А то не могу!

И он порезал его неожиданно острым ножом, дважды воткнув его в бок, под ребро. Он при этом схватил нож руками за острое, не пуская в себя, полосу кожу на пальцах и внутри, на ладонях, потом локтем оттолкнул Николая далеко от себя.

Николай все совался к нему со своим острым ножиком, приговаривал с убеждением, быстро и громко:

— Нет! Не надо, не бойся. Я тебя не до смерти. Я знаю, куда, чтоб совсем не до смерти! Пусти! — кричал он в отчаянии, убежденный, что делает верно, и все совал ему ножик, просил пустить его в бок.

Но он не пустил Николая в себя, яростно боролся, защищая бока, проявляя стремление жить на свете еще и не веря ему, что порежет его не до смерти, что порежет лишь ради справедливой остротки.

Он мощно ткнул Николая высоко носком ботинка, тот согнулся, закричал, закружился и сгинул, словно и не было его никогда.

13. УСТРЕМЛЕННАЯ ФИГУРА

Любому другому, лишенному цельности, этот случай сделал бы полное крушение жизни, хотя и не из тех неглубоких, боковых его дыр, что устроил ножиком ему Николай — как и было обещано им, несмертельных.

Главным несчастьем могло для другого явиться полное разоблачение от жены его Аллы, потому что никак не объяснить ей, во-первых, что за тайная жизнь у него от нее, в которой надо зайти на такую далекую улицу, где и нет никуда ему причин по пути; во-вторых, никак не объяснить ей ножа, кем был направлен на его скромный бок, почему за этим не стоял, как обычно, простой, приятный в этом случае ей человек — хороший грабитель со съемом часов. Многого ей не объяснить никогда, и чем больше бы этот человек объяснял, тем сомнительней все становилось для Аллы.

Но оттого ли, что нашему был результат все равно, от чего ли другого, только не было в тот раз между них результата. Алла сильно расстроилась и, конечно, всплакнула, но при этом в ней открылась неожиданная новая достоинность, которой не было случая прежде выйти на свет. Даже навещая ежедневно больницу, она не спросила у него тех вопросов, какие он представлял, что могла бы спросить

По всему надо думать, что впервые за фигурой мужчины, которая ей представлялась, против которой она повседневно боролась, но которая только и нравилась ей, то есть мужчины большого, невнимательного, занятого, небрежного, не одетого в лоск, даже одетого плохо, даже, если не вспомнить, оденется грязно, если не вложить утром новый платок, то отправится на день, надолго, со старым, если не сделаешь завтрак, уйдет натошак, если денег не дашь, то уходит без денег — но при этом, конечно, не будет страдать; мужчины сутулого, волочащего ноги, но при этом в сутулости, в волочении, в небрежении к платью и в небритости щек — во всем этом особый, свой смысл, то есть если сутулится, все же росту хватает, чтобы всех превывать, когда идет рядом с ней, и в небритости, скажем, чтоб ему это шло, а в небрежности, дырах на модных ботинках, шарфе, повязанном широко, кое-как, шапке лохматой, местами потертой, пальто, распахнутом из отсутствия пуговиц, во всем чтоб особая была красота, еще больше подчеркнутая ею самой, если им проходить, скажем, где-нибудь вместе, всей ее аккуратностью, всей ее малостью, всем ее лоском, причесочкой, мелким красивым лицом, всей умытостью, свежестью, блеском сапожек, ярким,

красным чулком, пальтецом до колен; за этой фигурой, хватающей, не заботясь, что больно, идущей шагами, которые невозможно догнать, вечно стремящейся уплыть от нее, обмануть, совершить нечто тайное, чего нельзя допустить — в этой фигуре впервые узрела она устремленность, которая лишь и оправдывает эту небрежность, а не просто отсутствие в нем чистоты и порядка, и ту особую выделяет на нем красоту, которая делает эту небрежность законом, волчьим блеском отсвечивает в каждом глазу, всегда устремленном за ближний предмет, потому что знает на земле свою цель, потому что стремится, даже зло, к этой цели, уворачиваясь от всего, что мешает; а мешают кругом.

И когда говорила она о мужчинах, то есть с виду какой кому нравится (через вид, понятно, выражается сущность), особенно в праздник с подругами говоря за столом, например, соединяясь на время в международный женский коллектив, и когда по-простому они восклицали — "Ах, люблю я усики! За усики все могу отдать", когда говорили — "А я люблю, чтобы звали Володей. Если не Володя, то я не знакомлюсь, потому что Володи все черные, а я люблю только черных", когда признавались — "А я люблю мужчину в очках. В очках он научный человек, они солидность придают, но, конечно, не щуплым, щуплых они унижают совсем", на что другие, напротив, возражали, что нет — "Не люблю я очков. Помню один, в очках, пригласил на комедию да еще взял бинокль. Я очень стеснялась"; дальше же шли уже общие разговоры об очках, почему их так много и что это значит, должно быть, в том виноват телевизор, в который теперь все втыкаются с детства, ослабляя глаза, отдавая ему свое зрение, чтобы смотреть на все уже его глазами, как вдруг опять говорила, возвращаясь, иная — "Мне нравится, чтобы в вечерней школе учился", когда же спрашивали у нее, почему, для чего ей такое неудобство в мужчине, всем международным коллективом спрашивали, чтобы она пояснила, то, не поясняя, все повторяла — "Да так, нипочему. Просто нравится", тогда последнее было чем-то Алле понятно, так как вновь вызывало представление о такой же фигуре — не красивой, не черной, не в солидных очках, а фигуре неясной,

устремленной куда-то, на что-то непонятное, чему все усиленно, дружно мешают, что и делать приходится в нерабочее время, а время нерабочее отнимается жизнью, она сама первая у него отнимает, хотя зачастую отнимает с трудом, однако же если бы отдавал без труда, то самой бы ей сделалось совершенно не надо.

Возможно, всего и не поняла она в этом удивительном случае, однако что-то забрезжило тогда в ней, и она не спросила у него тех вопросов.

После, однако, спросила сполна.

14. ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Вслед за этим прошли — в общем, тихо — два года..

Жизнь его состояла из вчера, сегодня и завтра.

Можно сказать, что любая жизнь состоит из вчера, сегодня и завтра. Это вчера непрерывно растет, непрерывно обрастает сегодня, которые настолько налились и созрели, что уже превращаются в бессмертные вчера. Сегодня наращивает грузное тело вчера, и оно крепко держится у нас на закорках. И завтра, которого собственно нет, которое наступает только в виде сегодня, потому что сегодня неуклонно, как танк, каждый день наступает собою на завтра, поедает, глотает, превращает в себя — ни для кого не заманчивое, пренебрегаемое всеми сегодня, которому следует поскорей стать вчера, чтобы вызвать вечное по себе сожаление.

Но бывают жизни, которые особенно состоят из этих трех четких дней. Так проходила и его непрерывная жизнь, в тесной дружбе лишь с тремя этими днями. Так и несла она их за собой, будто лодка, зацепившая у берега немного листы — возле себя, впереди и побольше всего за кормой. Так и проходила она в непрерывном поедании ими друг друга, переходе и рождении одного из другого, в возникновении откуда-то, из полного ничто, нового, небольшого пополнения завтра, которое недолго постоит впереди да и снова покроется ненасытным сегодня, чтобы тотчас же стать превосходным вчера.

И показалось, что вечно будет выплывать откуда-то это малое завтра, этот остров, поднятый со дна как раз в тот момент, когда он стал нужен, чтобы положить на него короткий, сияющий пролет моста сегодня, уже потемневшего позади, превратившись в длинное вчера, где все застыло, где уже можно гулять воспоминаниями, трогать руками все то, что там есть, что остановилось на ходу, затвердело и не может быть сдвинуто. По морю как посуху идет этот мост, опираясь на завтра, что ему подставляют, и нельзя подумать, будто однажды этот мост из сегодня не найдет под собою обычной опоры и тогда остановится разом в своем продолжении, образуя мгновенно конечное все.

Не раз оказывался он возле этой возможности.

15. НА ДАЧЕ

Как-то на даче он встал прежде Аллы и вышел на улицу. Видимо, было еще очень рано.

— Сколько времени? — спросил он у одного, который встретился ему на дороге.

— Не знаю, — ответил тот с полным равнодушием к времени.

На бетонных столбах вдоль железной дороги висели на стержнях тяжелые грузы, распирала над поездом провод, где ток. Насквозь пустая электричка покатила в своем направлении мимо него. Только в одном окне показывал себя в полный рост человек в костюме и при галстуке, делая для окрестностей — вплоть до конечной своей остановки — поясной портрет пассажира, не знающего устали в самую рань.

"Сколько же времени?" — подумал он, но спросить было негде. Еще один лежал на раскладушке, на солнышке, вовсе пляжный, без брюк и без майки — откуда у него будет время? Времени было еще нисколько.

Справа, в роще, между деревьев, от березы к березе сложена тонкая стенка поленицы. Маленькая девочка вышла из дощатой уборной в леске, аккуратно закрыв за собой на защелку. Мелкие камушки, выкинув вдоль по дороге длин-

ные, заостренные тени, казались просыпанными гвоздями; он шел по гвоздям.

Вдруг он поднял глаза от дороги и уткнулся ими во встречную девушку.

Существо молодое, с загадкой внутри, любопытное, несколько, видимо, грубоватое, сильно причесанное снаружи, подкрашенное там, где сама захотела, часто в полном несопадении с естественной линией, данной ей от природы в наследство от женщин, породивших ее, словно желая привить эти линии в новых местах, проложить им новые пути для всех последующих женщин, что она породит. Нарядная, очень одетая, шла она в такую рань по дороге.

— Какая прелесть! — воскликнул он искренно. — Ты что так рано нарядилась?

— А откуда я знаю, кого я встречу? — ответила девушка с непонятым весельем. — Может, я в шесть утра уже такого повстречаю, что сразу надо быть нарядной. Как тогда?

— Да кого же ты встретишь? — сказал он с улыбкой.

— А так. Мало ли кого можно встретить на свете. Хоть вас.

— Когда же ты успела? Или ты не спала?

— Нет, спала. Я очень спать люблю. А я все с вечера. Причешусь, умою лицо, руки, зубы; губы намажу — и сплю.

— Ну, а как же ночью? На боку повернешься, и прическа насмарку.

— Нет, не насмарку. Я сплю тихонько, как лягу, так и встану — тем же боком.

Они стояли и дальше не шли.

— Что это вы тут делаете? — спросила она с любопытством и посмотрела взглядом на него, как позвала.

— А ничего, — ответил он. — Гуляю.

— И я гуляю, — сказала она, словно без всякого особого смысла.

— Ну, так будем гулять дальше вместе, — сказал он просто, хорошо умея различать этот смысл.

И дальше, действительно, гулять стали вместе.

Это ли не удивительно, что малое знание вступительных слов, небольшая смелость сказать языком — и уже возможно делать что-то совместное, делать людям, которых до этого

не было в мире, то есть не было нигде одного для другого, и уже начинается то огромное слово, вновь начинается слово гулять, быстро выпуская из себя все значения, уводя по дороге, направленной к лесу, у входа в который нарисован плакат: "Каждая искра опасна".

Это ли не удивительно, что два совсем незнакомых человека уже не только готовы обнимать друг дружку тело (рано или поздно, не важно, когда, но готовы), смешивать слюну в затяжных поцелуях, но еще и больше — они говорят! Им есть о чем разговаривать — а не всем это есть, даже старым знакомым, — им, у которых ничего нету общего, ничего не читали они одинакового, ничего не смотрели на широких экранах, не жили вовсе в одинаковой жизни, то есть, возможно, читали и жили, но не об этом они сейчас говорят, не это их занимает по дороге к серьезному лесу. Они сейчас словно люди из разных времен и народов, сведенные вместе на острове в море. Им нет ничего, ни в прошлом, ни в окружении, что бы можно привлечь для живого общения, никаких нету символов, одинаково понимаемых ими двумя, может, нет даже общего у них языка, так как то, что говорят они сейчас, не значит того, что они говорят, а значит другое, что они тем не менее хорошо понимают.

— Я люблю черешню, она сладкая, а вишню не люблю — почему кислая? — говорит она, и это означает отношение к миру.

— Интересно где больше солнца позади или спереди я пойду тогда спереди — как мне всегда везет я однажды сорок одну копейку нашла с кошельком — вчера выходили с работы я идти не могу у Надьки губы покрашены а я свои съела я говорю поцелуй меня Надька и она меня целовала пока не покрасились губы а потом уже пошли — я понимаю что бывает аристократический нос но какой аристократический мой или ваш я не знаю — а меня тут с носом оставили подавали с Надькой в институт от производства мы одинаковые с ней на хорошем счету ее послали на дневное с путевкой а мне идти на вечерний почему неизвестно — муж у ней лейтенант они жили хорошо а деньги он клал на свою на сберкнижку потом как-то взял и перевел отцу она так плакала так

плакала и теперь еще не забыла вспомнит и заплачет но живут хорошо — а я поссорилась недавно по моей инициативе не могу дружить долго я такая дура прицепилась к нему все придираюсь и придираюсь он закурит а я почему ты закурил он остановится а я почему ты остановился и чего придираюсь сама не пойму — я удивляюсь что она так сказала сейчас не говорят такие слова я и не слушаю потому что их просто сказать хотя теперь их никто не говорит и они ничего не значат как раньше поэтому их не говорят никогда.

Говоря это нечто, подвигалась она вместе с ним по тропе, по тропе травяной, не пробитой до голой, до главной земли. Травяная тропа опускалась в овраг, травяная тропа из него выходила, и овраг оставался у них за спиной, словно первая линия небольших укреплений. Вместе с тропой поглощали они вслед за этим оврагом подъем и обход, и косую горку они проходили, а за горкой был длинный некошенный луг. Это все, поглощаясь, вело их на лес, надвигало их на него, на зеленого, темного, где опасна каждая искра для всех.

Вот деревня, как будто бы жителей в ней вовсе нет, домики старые, но на каждом антенна. Вот ранняя хозяйка, кормилица кур. Куры ходят кругами вокруг нее, вокруг хозяйки, боком заглядывают ей на лицо.

Вот какие-то бурые, ржавые елки, а за ними болотина, и в болотине плавает черная шина, потерявшая где-то свое колесо. Старуха идет через поле с огромным мешком за спиной, на котором вышиты красным слова: ЧЕЛОБАНОВ ВОВА. Вот скачут коровы вдоль по грязной дороге и скрываются мигом за каким-то бугром.

И эта деревня, хозяйка и куры, эти коровьины скачки, болотина, шина на ней и старухин мешок — это все остается позади, словно жизнь, словно декорации первой картины, в два приема выдергивая из земли дальний лес, лишь всего на два пальца увеличив его в высоту.

В том же, что перед ним говорила она, в голосе, в тоне, меж слов разговора, сообщалось упорно, будто в лес они ничуть не идут, а идут, напротив, в полевое, открытое, людное место.

И когда они дошли до самого леса, когда они вошли в него, в густой и безлюдный лес, которого отродясь (кто — отродясь?) не увидишь, когда он повернул ее к себе, стал обнимать за все, что ему захотелось, когда, гуляя руками, дошел он до неких округлых запретов, она вдруг спокойно скинула с себя его пальцы и сказала насмешливо:

— Не трогай чужие вещи без спросу.

И потом она что-то с обидой сказала ему в дополнение, что-то такое, где опять же слова не важны:

— Ты думал, что я пойду с вами в лес, но я не пойду с вами в лес. Хотя мы уже в лесу, но это не значит, что мы в лесу. Это вы пришли со мной в лес, потому что я просто сюда сама гуляла, а не вы привели меня в лес. Ты думаешь, что ты меня привел, но это еще ничего не значит. Вот мы с вами в лесу, а попробуйте только, ничего такого не будет, потому что, если бы не в лесу, тогда другое дело, а так ничего быть не может, потому что вы как раз специально подумали, что вот какая, идет со мной в лес, а в лесу с ней что хочешь можно сделать, я вас знаю. А я в лес пошла, да ничего не позволю, как раз тут, в лесу, не позволю. А не в лесу, конечно, не позволила бы и совсем, но особенно, ясно, в лесу. Вот так, мой милый, не надейся напрасно.

И она встряхнула всем корпусом, миг поставив на место все линии, несколько сбившие его наступлением. Она про себя хорошо понимала, что с ней может конечного сделать мужчина, и ничуть от того не смущалась внутри, но снаружи она возмущение выражала, щурила глаза, поводила натянутым животом — оттого, что считала, будто это так надо.

На ней были золотые крупные волосы, точно елочный дождь. Под ней были ровные, длинные, словно девочкины, ноги на шпильках. На ногах сверх меры открыты колени.

"Конечно, как же тут оставаться ей чистой, — думал он, — если столько глаз ежедневно ищут ее моментального взгляда, столько взглядов кидаются разом в колени — на ходу, на улице, в метро и на прочем транспорте города, а она желает этих взглядов побольше, хотя только взглядов, и все. Улицы полны такими, как она, кто желает казаться, но страшится действительно быть. Казаться, но не быть, проходить,

купаться в вожделеющих взглядах, и в самодовольстве уезжать к себе в постель, увозить в себе свою сохранность, пронесенную смело вперед еще день. В этом гораздо больше содержится нечистоты, чем это принято думать".

— Я тебе нравлюсь? — спросил он ее.

— Ничего... время провести можно, — отвечала она.

— Как-то ты не так говоришь.

— А как? Сейчас только так и надо говорить, — сказала она с убеждением.

— Ну и черт с ним! — сказал он сердито. — Пошли по домам.

16. ОПАСНЫЙ ВАГОН

Но они, конечно, по домам не пошли, потому что этого ей никак не хотелось.

Они медленно направились якобы к дому, на обратной дороге слегка заплутали и вышли на станцию железной дороги. Время уже появилось, пока они ходили по лесам, и успело, видимо, пройти даже больше сегодняшней своей половины.

Электричку, которая дошла до конца, осаждали люди всевозможного вида, уже захотевшие возвратиться домой из полезных лесов.

— Граждане, посадки нет! — говорило радио народу с высоты. — Поезд направляется в парк. Посадки нет.

Но народ не послушался репродуктора и сел в свободную электричку. Девушку тоже потянуло последовать за своим народом, она схватила его крепко за руку — то есть его схватила, а совсем не народ — и потащила к вагону. "Куда? За чем?" — подумал он несильно, подчиняясь движению, так как тоже тянулся последовать за людьми.

Народ знал, что делал. Электричка отошла двести метров, постояла там десять минут, а потом перевелась на обратные рельсы и спокойно поехала не в парк, а прямо в город. Народ всегда понимает, что делать.

— Будьте благоразумны и осторожны! — еще раз с мольбою сказал репродуктор народу, сказало радио людям, а в том радио диктор, который — и только он один — хотел

слегка обмануть их для их же для пользы, и поезд мгновенно его миновал.

Так, неожиданно, он уехал от дачи.

Народ в вагоне составил мгновенную пулю. Народ заиграл на бренчащей гитаре. И он же, народ, взяв гитары другие, повернул вниз струной у себя на коленях, застучал им по спинам костями домино.

Этот вагон звал к поступку.

Слепой с транзистором, повешенным на грудь, который не слышно от ближнего пения, и только хозяин ловил его звук — наклонялся вполуха, а после вставал от него к разговору с соседом. Даже слепые, говоря меж собой, обращают всегда свои лица друг к другу.

— Опасаясь шального поступка, — пели люди вокруг говоривших слепых, сами возвращаясь оттуда, где шальной был все время возможен поступок, куда и ездили они за шальным (но не слишком), хотя и того удалось миновать. Начинается эта песня на соседней скамейке, где сидят молодые ребята, возможно, что даже несвободные школьники.

— Опасаясь шального поступка! — поет, не разжимая зубов, мягкое, носатое лицо молодого, временного недоросля, еще не осевшее у себя на костях. Рука, что играет щипком на гитаре, обмотана туго ремешком на запястье. Вот серая школьная форменка, надетая вольно, расстегнуто, на одну еще куртку. Вот с нерусским, западным лицом у себя на лице — это тоже ненадолго, это форма протеста. У другого с шиком надета старая, синяя шляпенка без полей. Поля у шляпенки отрезаны напрочь, до ленточки с бантом, спереди выстрижен полукругом козырек.

С этой несложной, гитарною песней носится в вагонном воздухе их мужская, юная духовность, которая вышла ненадолго у них изнутри, чтобы после замкнуться там снова, навсегда в несознанке от себя самого. Эти новые, нарастающие, молодые мужчины, которые также не будут ничьими, то есть не будут ничьими надолго, но и своими они никогда быть не смогут, будут только обязанными — семье, войне или службе, семейно-служебно-военнообязанными, им уже

заготовлен сержант или мастер, их уже дожидается быстрая дорога, что бежит сама собой под ногами вперед.

**Сегодня я с большой охотой
Распоряжусь своей субботой, —**

поют они независимо, не свои и ничьи. Как невыносимо это слышать окружающей женщине!

Этот вагон зовет немедленно к поступку, но совсем не к тому, что желала бы девушка, сидящая напротив, существо молодое, жестокое, с загадкой внутри и с прической снаружи.

17. ПРЕКРАСНЫЙ СЛЕПОЙ ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД ДЕРЕВОМ

Приехав в город, они пошли гулять в парк.

На углу двух дорожек стояла скамья.

Бедные эти песчаные дорожки в городском дальнем парке, когда-то посыпанные слабым желтоватым песком, сквозь который уже пробиваются черные макушки земли, сведены были встык возле старого сиреневого дерева. Это было конечно же дерево, даже не куст. Многие тонкие стволы его расходились вверх и в разные стороны, не имея задания направляться всем разом, в одну-единственную точку русского неба. Однако среди этих стволиков, серых, сухих, намечался один главный ствол, старый как старость, с заметной корой. Он долго и тихо нарастал на себя, он растил свое тело из тех небольших, ежегодных остатков здоровья, что не уходили целиком на изобильное цветение, на сильный запах, и вот в кусту стало дерево, куст возымел в себе стержень и направился отныне вслед за этим стволом.

На скамье против дерева сидит слепец, держит на коленях очень толстую книгу, ведя по ней чутким пальцем, уставя будто бы зрячие глаза прямо в небо — сидит на лавочке посреди красоты, будто что-нибудь в ней понимает, в далекой; сидит, читая про себя литературу и радуясь ей до широкой улыбки.

Перед ним, перед слепым, цветет и пахнет собою сирень. Сирень увешана сиренью от земли до макушек, и вся эта пышность выходит из куста далеко наружу, из строгих, темно-зеленых, несочных листьев его, как орган, состоящий из множества трубок, от малых до огромных, восходящих медленно к центру, к вершине — стволу. И столько разного цвета в ее сиреновом цвете, если глазом взглядеться в любую мясистую кисть. Каждый крестик цветка несет одну свою краску: бледную розовость, мягкий сиреневый, фиолетовый цвет, с глубиной, с желтизной, также с сизым отливом, разный от лепестков к середине, уходящей в себя, в темноту своей дырки, и напротив, — от светлого центра к краям. Нет похожих по краске, одинаковых видом, все повернуты разное, вовнутрь и наружу, на все четыре стороны света; кто дальше, кто меньше, высовывают они себя в мир из кисти, она живая, она объемна, она насквозь сирень в своей сирени, и эти малые крестики разного вида, соединяясь, отблескивая сами на себя, на соседних, поддерживая и выглядывая снизу один за одним, меняясь окраской — постепенно и вдруг, как бы двигаясь в пространстве — делают кисти тот единый, нежный и выпуклый цвет, что мы просто называем сиреневым.

Слепой сидит и не видит цветущего дерева, потому что слепые увидеть не могут. Слепой не видит за деревом ровную землю, не видит он невероятной, первородной зелени вдоль по земле, он не видит синего неба над нами, парного, слоистого облака в нем, всего составленного из разновидностей белых цветов, в какие и верить не веришь, что бывают на свете.

Слепой сильно нюхает воздух, он вдыхает и кожей, и чуткой ноздрей: они, слепые, хорошо могут нюхать. Против слепого оглушительно пахнет сиренью. Но и запах ее он не может услышать, потому что запах подымается и плывет через воздух, как вода по реке — подымается, а после опускается через улицу, у соседей, и пахнет там, у соседей, хотя цветет перед ним.

Он не видит дорожки, не видит синего неба, не видит светлых домов, что немного заносятся силуэтом на небо.

не видит города, в котором все не так, как бывает в деревне, не видит деревни, где всё не такое, как в городе, не видит разного лица своей страны, которая имеет лицо, обращенное вверх, к пассажирам не очень скоростных самолетов, и вбок обращенное, к поездам и машинам, обращенное вниз — к своим лучшим героям, что (по общему мнению) все лежат по кустам, а живых не бывает героев в народе; обращенное к светлому, трудному прошлому, к лучшему будущему — что наверное будет, к истории обороченное, не видя с историей ясно друг дружки, тем не менее все выставляя лицо: ведь даже слепые, говоря меж собой, обращают всегда свои лица друг к другу.

Слепой не видит города и не видит России, не видит истории и не видит себя, он читает пальцами книгу, хорошую книгу, потому что мы заботимся о слепых, отбирая им чтение, и не каждую книгу для них издаем. Но слепой видит все — видит слабые дорожки на затылке земли, видит пышную землю, видит небо и облако, висящее оттуда, видит город, деревню, себя и историю: потому что слепой человек пришел давно сам к себе, слепые люди прекрасны, и это есть у них на лице, это исходит у них от лица, это почти можно видеть, как токи теплого воздуха возле реки, ибо он живет у себя на лице; поглядите: он живет и слушает, как маленький зрячий человек, мальчик-с-пальчик из его головы небольшими шагами спускается в нем по нему, в его сердце, и доходит до самого себя (что умеет не каждый) и потом подымается тихо обратно, принося в полной целостности это сердечное в мозг.

18. НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ: ВОЗМОЖНЫ НЕУДОБСТВА

Девушка рассказывала ему, как она любит другого, и на этом основании хотела большей игры от него, большей изворотливости в деле ее убеждения.

— Ну и что, — сказал он рассудительно, — и я люблю не тебя, а я же тебя целую, что же делать? И тебе делать нечего, раз гуляешь со мной, а с ним не гуляешь. Видно, он не зовет?

— Не то чтобы не зовет, а в общем... не зовет.

Ненадолго в ней мелькнуло человеческое, чтобы тут же превратиться в еще большую игру, чтоб все запутать.

— А что? И с вами можно время провести, — сказала она завлекательно, уводя его от вопросов в угол парка, в котором хорошо уже стемнело.

— Ну зачем эта война? — через полчаса спросил он с досадой.

— А я люблю воевать! — сказала она, как умеют это они говорить.

"Ну, так ты получишь войну, если тебе это надо", — подумал он снисходительно, хотя обычно им не потакал в этом деле.

Положил руку ей на колено, на жесткое капроновое колено, как спинка у жука. Она подержала и скинула. Положил опять — подержала подольше. Это продолжалось недолго, по всем нужным правилам, для нее интересным, пока она вдруг не решила, что можно прижаться к нему, а потом, так же вдруг, — что пора оттолкнуть. Оттолкнула — прижалась — опять оттолкнула, отпуская ему себя малою дозой.

А только он не бросил обнимать ее дольше, чем она позволяла, то и пригрозила, чтоб понравиться этим ему еще больше.

— Пустите, — сказала. — А то сейчас закричу.

И вместо того, чтобы пошутить про это с нею тоже, вместо подходящей, обнимающей шутки, он ответил вдруг просто, как отвечать им нельзя:

— Ну и кричи, если хочешь.

— Крикни! — сказала она снова. — Вы не думайте, я не побоюсь.

— Ну и кричи, никого тут нету, — сказал он снова, продолжая обнимать ее руками и держать при себе, понимая, что этого ей и хотелось, а слова вылетали из нее по привычке.

— Помогите! — крикнула она в самом деле, крикнула истошно и громко и сама испугалась.

И сразу же в парке, где нет никого в это вечернее время, оказалось, есть все, кто нужен для подобного крика. За кустом выпивали — и на крик пришли со своею посудой; под

кустом целовались — неохотно оставили на потом это дело; шла из бани старуха с белым тазом и сумкой, в которой нахально, на самом верху, лежала распаренная, мокрая, как хозяйка, мочалка — одна бы эта помывщица подойти не смогла, а тут, при народе, и она осмелела; солдат стоял вдалеке на часах на вышке — солдат, оказалось потом, все видал, солдаты все видят, но солдаты молчат, пока их как следует не расспросит начальство.

Все эти люди — выпивавшие, согласно целовавшие губы во рту друг у друга, несущие мимб парное, мытое тело — все схватили за руки нашего человека, дружно взялись за небольшой его шиворот из пиджака и рубашки, побежали за помощью нужных властей, которые власти очень долго не шли, и простужалась от этого парная старуха, остывали губы, желавшие продолжать распаляться, и черствела закуска под кустом на газете.

Он не вырывался, нашлись отдаленные власти, посадили в машину и с сиреной умчали его под замок.

19. ПОД ЗАМКОМ

Он сидел, остриженный наголо, словно юнец, и думал: что же такое совершил он неверно? Где ошибся, в каком месте? Не принял серьезно угрозы, которой просто хотела она его испытать? Зачем ей понадобилось такое испытание? Для чего?

Нет, понял он, что бы он ни делал, он не мог не ошибиться. Впервые столкнулся он с новой стихией.

Она мучима, бедная, мучима выбором, всем, что входит в понятие выбора нынче. Она находится в непрерывном поиске, при котором решила заранее, что придется ей подвергать себя неприятным минутам.

И слишком слабый, чтоб все изменить, он может только постараться понять.

20. ГОРБОМ К ГОРБУ

Что же это такое — выбор?

Слепой не выбирал своей слепоты, дерево не выбирало земли под собой, сирень не выбирала свой сиреневый цвет, не выбирала, кто прилетит к ней на запах, запах же не выбирал свой поток, не выбирал, куда плыть по воздуху, где опуститься, где остаться и пахнуть, и где бы он ни опустился, он может пахнуть везде, и везде будут рады, любой тонкий нюх.

В людях же проблема выбора стала огромной. Никогда на земле, никогда в бедной родине нашей не было такой невероятной нужды очень тщательной отборки человека для себя, для близкой жизни. Во все времена хорошая, природная женщина, не обделенная ничем, что должно в ней иметься, могла полюбить любого хорошего, природного мужчину, наделенного всем, чем он должен быть наделен в этом качестве, ибо прочее, человеческое, личное, не различилось сильно у разных людей, оттого и действительно: стерпится — слюбится, оттого их и сватали, невидимых невест за невидимых братьев, что никак не могли подвести своих сватов, не было у них в запасе ничего такого, чем подводят. Она вырастала постепенно, век от века, эта замечательная человеческая личность, чтобы навсегда разделить, разобщить всех людей, чтобы заставить их усиленно искать себе подобных, пару искать среди отчаянно непарных, и чем сильнее, чем острее и определенной становилась эта личность — тем труднее найти, отыскать, приспособить. Равные кубики все приложимы друг к другу, но как найти доплатитель среди шаров, полумесяцев, ромбов и дисков; посреди треугольников, разных углами? Чтобы выпуклость одних обнималась при сложении соответственной впадиной? Нет, это трудно найти, и каждый ищет, чтобы сложиться, а зачем ему складываться — это тоже понятно. По природе он должен сложиться, чтобы сделать с женщиной пару, к тому же теперь еще нужней ему это, ибо шар один — не так устойчив, как прежние кубы, а при сложных нынешних временах все нужнее каждому выстроить дом среди жизни, чтобы устоять перед временем, перед

трудностью его, противоречием, перед небывалым расширением всякой полезительной лжи, от великой до малой, от частных до общей.

Тут и выходит на свет, разрастается у каждого по-своему довесок — наша личность, личность гуляет по белому свету, она сидит у нас на плечах, словно горб. Она нужна как спасение, как противодействие, как электронная хитрая машина для разгадок, как средство лавировать через разную ложь, чтобы добираться не до истины даже, а хотя бы до блага — да, это точно: сквозь ложь и до блага, вернее, в сторону блага, того, которого часто тоже трудно достичь.

Горбы же эти, в плюсе или в минусе горбы — все равно, то есть личности мерзкие или даже роскошные, что в итоге не важно, они мешают нам соединяться друг с другом. У слепого, заметьте, исходит с лица доброта, у горбатого — злость на лице и обида; слепые женятся на слепых, слепые любят слепых, любят слепо, на ощупь, но горбатый с горбатым не могут сойтись, потому как слепой — это только слепой, просто незрячий человек, то есть чего-то лишенный на свете, что можно чем-то еще заменить из себя, истончившись, тогда как горбатый имеет позади себя вещь, или впереди себя имеет такую же вещь — острый горб, на котором натянут пиджак, острый горб, на котором натянут жакет, острый горб, при котором нельзя нам сложиться, пока не найдешь подходящую впалость.

Думая так, он заметил, что сильно устал. Он дождался обеда и немного поел. Думать в камере было неудобно и трудно, не хватало предметов на стенах. Лучше всего ему думалось обычно на людях, в трамвае и в улице, потому что думал он не словами, а более тем, что он видел, обнимая предметы, вовлекая в себя и обращая их в мысли. И к женщинам это относилось вполне.

21. ДУХ ПРАВОСУДИЯ

В суде и в следствии пахло подмышкой — то есть в тех помещениях, где проводились эти полезные действия.

Место это, находящееся под рукой, в срастании с боком, хотя и называется слегка непонятно и странно, особенно по нынешней, раздельной орфографии — под какой такой Мышкой? Давно уже не слышится прежняя мышца — место это отнюдь не противное (и не обижающее даже девичьей скромности, которая игриво прохаживается часто в него за щекоткой), пахнет тем не менее иногда невозможно. Бой быков — вот что раздается оттуда, не меньше! Потный, отприродный человек так не пахнет. Это запах подмышки лежалой, пиджачной, воспитанной папкой, ежедневно втыкаемой в нее со своим коленкором.

Почему именно этот запах, этой части организма поселился в суде, непонятно. В этом не содержится ничего оскорбительного для самого лучшего в мире суда, а все же, согласитесь, несколько невкусно.

Следователь, допрашивая, презирал нашего человека за малость преступления. Следователь, как и все остальные люди, не был насквозь безупречен, и ему было радостно встречать преступника большого, преступника страшного, перед которым он сам и его небезупречность были в сравнении нуль, ничто, то есть в сравнении с которым был он идеальный, милый человек — и в семье, и на службе, и в уличной жизни.

Он же, наш человек, не мог придать следователю такой хорошей законности, чтобы тот мог спокойно его судить и рядить. Следователь не любил его за это, за то, что хорошо мог представить, как гулял он с девицей по парку, как девица завлекала его чем могла, как при этом он действительно завлекался, — и следователь тоже бы охотно завлекся — как что-то он сказанул или сделал такого, что легко ей могло не понравиться, этой девице, — им, девицам, все время поступки желательно наши делить: которые нравятся, а которые нет, и чтоб нравились все — им как раз ни к чему, этого они не прощают и не любят. А уж если не понравилось, он легко мог представить, как при вздорном характере она закричала, чтоб того попугать — и не больше, — не думая, будет ли на это последствие, будет ли сбегание народа к ним под куст. Размышляя про это, следователь находил для се-

бя тот момент, то неверное слово, где таилась ошибка, с которого сам начинал развивать свои действия в мыслях, заходя так далеко, как нельзя заходить у нас следователю даже в мыслях. Спohватившись, он возвращался поспешно в обратном порядке, еще более не любя своего подследственного — за то, что тот его вынудил столь далеко заходить в своих мыслях, а более всего за то, что пришлось ему так быстро вернуться, кинуться вспять из областей приятнейших, которые в представлениях были куда податливей, чем в скудной следовательской жизни.

Защитник тоже презирал его: за то, что он успел свершить так мало, тем более, что придется отвечать по всей строгости — так что лучше бы уж, полагал защитник, он свершил бы все, в свое удовольствие, до конца. Защитник презирал и слегка жалел его, но считал, что должен и то, и другое скрывать. За это он тоже не любил подзащитного, потому что кто ж это любит, скрывать себя от другого — не скрываются же защитник не смел, хотя тот и вовсе этого у него не просил, а то есть был невиновен в неудобстве защитника перед собой.

Оба судебские человека тем самым ненавидели подсудимого, как самих себя, ибо ненавидеть можно лишь то, что есть у нас внутри, что там живет, хотя и подавленно, а чего в нас нет, то невозможно понять, невозможно понять же — нельзя ненавидеть, можно только бояться, вот мы и боимся, принимая свой страх за непримиримость и ненависть. С какой же силой должны судить мы не то, чего просто боимся, а что действительно изнутри ненавидим в себе?

Так что нашему человеку уготован был суд в полной мере, без всякой пощады.

К тому же, среди судебских с давних пор живет неуважение к людям малой виновности, небольших, совершенных кустарно проступков. Участвуя вместе с преступником в одном общем деле, в деле законности, хотя и с разных его сторон, как бы роя туннель под горой с двух концов, чтобы где-то встретиться, пересечься, образовать единое целое, — они начинают любить хорошего, основательного преступника, так же как преступник любит основательного, крепкого судью, который ставит наконец все на место, то

есть находит ему по своим толстым книгам точное место среди человечества, по которому втайне преступник скучает, не желая болтаться в непонятной неприкрепленности к жизни.

В суде не любят случайного нарушителя, его не любят и в следствии, и не любят в поимке. На них, на ненастоящих, на случайных, обычно и обрушивается полный закон — и за дело: не лезь в чужую область, где у тебя не хватает таланта, не обижай людей, которым эта область важнее всего мирового пространства.

22. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Это слово означает заключение повести, а вовсе не рассказ о заключении нашего героя, в трудовой строгий лагерь, которое последовало, разумеется, за судом.

Я не стану подробно рассказывать об этом периоде, так как наше руководство смущается и просит вовсе исключить из языка глагол сидеть. Но и потом еще немало случилось с ним разного — целая жизнь, которая кончилась все же хо-рошо, не беспокойтесь, то есть кончилась, как и у всех, личной смертью.

Когда-нибудь, надеюсь, я продолжу рассказ.

О том, как, выбив глаз ему в темное время, люди сделали его вполнину незрячим, что само по себе ничего: в древности, скажем, чем слепей был талант, тем почетней.

О том, как другие люди, не те, которые выбили, а те самые, женские люди, ради которых он старался всю жизнь, — как они невзлюбили его за этот выбитый глаз, хоть и были незрячие сами, в свои оба глаза.

О том, какая это была несправедливость.

О том, что в этом месте у него появилась фамилия, даже имя и отчество. И фамилия эта оказалась простой. "Ага! — с удовольствием подумали все, кто его знал. — Такой, можно сказать, талант, хотя и в особом смысле, а тоже вот — и фамилия есть у него, и даже имя. Недалеко же он ушел от всех от нас".

Он стоял среди народа и не мог отдать ему свой талант, хотя и был тот талант неизменен, не считая какого-то частного глаза. Между его талантом и людьми, думал он в это время, прочно встало на охранные пути государство. А разве это верно?

Много чего я могу рассказать про него — но не буду. Повесть не кончена, скажете вы; ну и что, пусть не кончена. Посторонним все равно дела мало, а с друзьями как-нибудь я объяснюсь.

Друзья! Вы знаете, это вполне русская книга, а кто же помнит, чтобы русские книги кончались? Спасибо, хоть до этого места дошло, могло бы остановиться и раньше. Нам всегда лишь бы как-нибудь, чего-нибудь, чтоб имело хотя бы вид повести или романа, но главное нам — поразмышлять, понять какую-то малость, сыскать частицу Бога в самом мелком, недостойном предмете, а там и наплевать, и пусть она катится себе псу под хвост, самая распрекрасная в мире сюжетность. И чем лучше ты ее придумал, тем скучней доводить до европейского конца завершения.

Немец обдумает мир и поймет, американец выстроит модель и рассчитает, мы понимаем предмет, только когда начнем про него сочинять по бумаге (кто из русских писал? Не без зависти: "англичане, вскормленные мозгами своих предков"). Право, придумайте далее сами: мне уже все совершенно понятно.

**Тогда-то странник наш, с разбитой головою,
С попорченным крылом, с повихнутой ногою...**

Борис ХАЗАНОВ

"ЗАПАХ ЗВЕЗД"

Повести и рассказы ("Запах звезд", "Взгляни в глаза мои суровые", "Дорога на станцию", "Час короля", "Страх", "Глухой, неведомой тайгою" и другие).

Выходит в свет в марте 1977 года.



Сол БЕЛЛОУ

РУКОПИСИ ГОНЗАГИ

Кларенс Файлер — в темно-синем пальто, длинном и мягком, застегнутом до самого горла, — сошел со скорого поезда на мадридском вокзале. Уже начало смеркаться, моросил мелкий дождик, и гулкий вокзал, со всей своей гулкой толчеей и блеклым мерцанием мутных желтых фонарей, казалось, тонул в темноте и гаме. На Кларенса сразу же набросились несколько носильщиков (с первого взгляда было ясно, что этот голубоглазый блондин, невысокий, со светлой бородкой, в длинном пальто и в шляпе с очень узкими полями,— иностранец); но Кларенс сам ухватил свой чемодан и потащил его к выходу. Старое, огромное, раздрыванное такси довезло Кларенса до пансиона "Ла Гранха", где он еще заранее зарезервировал себе номер. Этот древний лимузин, небось, бегал по мадридским улицам еще до того, как Кларенс появился на Божий свет, но сделана машина была добротно и до сих пор работала на совесть. Сидя на просторном заднем сиденье, Кларенс смотрел в окна, напомиравшие застекленные дверцы старого дедовского шкафа, и с удовольствием вслушивался в урчание мощного старого

*Копи-райт Сола Беллоу.

мотора. Где еще можно вот так проехаться, в такой вот вечер, по такому вот городу? Кларенсу нравились испанские города — даже самые убогие, самые обшарпанные, и, к тому же, ему нравилось бывать в столицах — когда ему доводилось попасть в какую-нибудь столицу, в нем всегда просыпалось непонятное возбуждение. Впервые Кларенс приехал в Мадрид много-много лет назад, еще студентом — он тогда занимался испанским языком и литературой в Миннесотском университете; а затем он побывал в Испании после гражданской войны — и увидел, какие разрушения оставила в стране война. Но на этот раз Кларенс приехал в Мадрид уже не туристом, а по делу. Незадолго до того, в Калифорнии, где Кларенс теперь жил, он познакомился с одним испанским эмигрантом, и тот рассказал ему, что где-то в Мадриде спрятано около ста стихотворений Мануэля Гонзаги. Ни одно испанское издательство не отваживалось их напечатать, потому что в этих стихах Гонзага весьма неодобрительно отзывался об испанской армии. Кларенс не мог поверить, что в Испании запрещено печатать стихи величайшего из современных испанских поэтов; однако эмигрант доказал, что так оно и есть. Он показал Кларенсу письмо, которое некий Гусман дель Нидо написал одному из племянников Гонзаги; Гусман дель Нидо был другом и литературным душеприказчиком покойного поэта; когда-то они вместе служили в армии в Северной Африке. В этом письме Гусман дель Нидо сообщал, что некоторое время тому назад у него хранились рукописи некоторых неопубликованных стихов Гонзаги, однако он отдал их графине дель Камино, любовнице Гонзаги, поскольку в большинстве своем это были любовные стихи, ей посвященные. Графиня дель Камино умерла во время войны, ее дом был разграблен, и где сейчас рукописи, сеньор дель Нидо не знал.

— А может быть, ему и вообще на них наплевать, — добавил эмигрант. — Этот дель Нидо — из тех людей, которые думают, что теперь, слава Богу, все неприятности кончились, и можно наконец прилично пожить. И он-таки живет куда как прилично! Он богат. И он заседает в Кортесах.

— Деньги тут, скорее всего, ни при чем, — ответил Кларенс, который и сам был отнюдь не беден; правда, богачом его тоже нельзя было назвать, но ему и не было нужды трудиться, чтобы заработать себе на хлеб насущный. — Деньги тут ни при чем. Если ему не дороги стихи его покойного друга, значит, этот сеньор дель Нидо, должно быть, просто-напросто, плохой человек. А ведь какие это стихи! Знаете, когда я учился в аспирантуре, я всего лишь бесцельно убивал время — до тех пор, пока мне ни попались как-то стихи Гонзаги. Тот год, когда я работал над диссертацией о сборнике **"Los huesos secos"**, был мой первый счастливый год с тех пор, как я кончил школу. Да и после того, как я закончил диссертацию, у меня тоже не было такого счастливого года. Вообще-то я не поклонник современной поэзии — английской и американской. Конечно, есть у нас сейчас неплохие поэты, но, по-моему, у них в стихах нет жажды жизни. То есть они не радуются жизни, как радуется живое существо. Как будто просто жить — это само по себе недостаточно хорошо. Ну, так вот, когда я впервые открыл книгу стихов Гонзаги, я натолкнулся на такое стихотворение:

**Эти жалкие сгустки кальция, зубы мои,
И эти жалкие несколько омов, мой мозг,
Наверно, внушают вам мысль, что я слаб и ничтожен.
Но позвольте сказать вам, сеньор:
Я — такой же, как все существа,
Я — живое существо.**

И когда я это прочел, то сразу же почувствовал, несмотря на то, что тут явно иронический оборот, — почувствовал, что этот поэт мне очень близок, потому что он может научить меня, как мне жить, как относиться к жизни. И уж совершенно потрясен я был такой гениальной вещью, как "Ночная поэма", — я ее до сих пор помню наизусть с начала до конца, и мне иногда кажется, что эта поэма — единственное, что у меня есть дорогого в жизни... — Кларенс иногда был склонен к изрядным преувеличениям и некоторой выпендренности.— Или вот, например, такое стихотворение, как "Исповедь", то, которое начинается вот так:

**Когда-то я радовался всему,
А теперь я боюсь всего.
Дождливый день приносит мне отраду,
И солнечный день приносит мне отраду,
А теперь даже тяжесть собственного тела
Ужасает меня...**

Когда я это прочел, то понял: Гонзага говорит о том, что, когда мы пытаемся всего достичь, мы все теряем. Это, я думаю, был самый важный урок моей жизни. Боже! Да ведь должен же кто-то попытаться разыскать его посмертные стихи! Нельзя же вот так просто о них забыть. Представляю себе, как они великолепны.

И тут Кларенс почувствовал себя, точно гонщик на старте; им овладело странное возбуждение, какой-то лихорадочный порыв, и отчаянная радость. Ибо Кларенс пока еще не нашел, чему посвятить себя в жизни, он нигде не работал и был предоставлен самому себе. Он считал, что не имеет морального права жениться до тех пор, пока он не выбрал себе поприще и не может предложить своей будущей супруге что-то весомое. И бородку он отрастил не для того, чтобы, как многие делают, скрыть какие-то недостатки в чертах своего лица, но для весомости, для солидности. У него уже начали появляться кое-какие чудачества — а каким еще образом он мог выразить те благие порывы, которые переполняли все его существо? Он и сам не понимал, что, по сути дела, у этих порывов была религиозная подоплека. Кларенс был слишком застенчив, чтобы открыто заявить, что он верит в Бога, и он не мог себе представить, что есть люди, для которых хоть сколько-нибудь значит, верит он в Бога или нет. Наоборот, ему казалось, что некоторые скажут: "Ах, вот как, он верит в Бога — значит, он слабый человек". Однако стихами Мануэля Гонзаги он действительно восхищался; и обнаружить новые, неизвестные стихи вдохновенного испанца — это действительно кое-что значило. А для Кларенса вопрос: "Действительно ли это что-то значит?" — всегда был проверочным вопросом, пробным камнем будущего действия. И Кларенс втайне радовался при мысли, что

он — не из числа равнодушных, которым на все наплевать. Обнаружить новые стихи Мануэля Гонзаги — это значило очень много; а то, что хоть что-то значило, могло спасти Кларенса, наполнить его жизнь смыслом. И вот Кларенс приехал в Мадрид — приехал не для того, чтобы совершить благочестивое литературное паломничество, но для того, чтобы сделать нечто значительное и нужное: обнаружить и открыть миру завет великого человека. А уж мир, без сомнения, сумеет этим заветом воспользоваться.

Едва прибыв в пансион "Ла Гранха" и включив свет у себя в номере — уютной вместительной комнате с балконом, выходящим на Ретино, самый большой парк Мадрида, — Кларенс позвал коридорного и попросил отправить два письма. Одно из них было адресовано сеньору Гусману дель Нидо (бывшему собрату Гонзаги по оружию в Марокканской войне, а теперь — его литературному душеприказчику), а другое — некой американке по имени мисс Фейт Ангер, которая жила на улице Гарсиа де Паредес. Эта мисс Ангер изучала в Мадриде историю искусств, и у нее был жених — летчик, который доставлял в Мадрид из Танжера более дешевые песеты. Кларенсу очень не улыбалось связываться с черным рынком, но законный курс обмена валюты нельзя было назвать иначе, как грабительским. Кларенс был готов к тому, что за рукописи Гонзаги с него заломят круглую сумму; но если еще вдобавок платить эту сумму по официальному курсу восемнадцать к одному, то это будет целое состояние.

В дверь постучали, и вошла хозяйка пансиона — бледная, грузная женщина с волосами, уложенными вроде тюрбана, спиралью сужавшегося кверху. Она отрекомендовалась доньей Эльвирой и сказала, что должна взять паспорт Кларенса и другие его документы и отнести все это на регистрацию в полицию. Кроме того, она рассказала Кларенсу кое-что о других постояльцах. Самым старым из них был какой-то отставной генерал. Кроме генерала в пансионе жили несколько чиновников из компании "Бритиш Шелл", вдова какого-то министра и шесть членов бразильской торговой делегации. Так что столовая заполнялась до отказа.

— Вы турист? — спросила хозяйка.

— Некоторым образом, — уклончиво ответил Кларенс.

Ему не хотелось, чтобы его считали туристом, но и рассказывать о цели своей поездки он тоже не мог. Ведь стихи Гонзаги, даже неопубликованные, — это все-таки, небось, нечто такое, что можно классифицировать как национальное достояние.

— О, вы приехали что-то изучать? — продолжала допрашивать хозяйка.

— Да, некоторым образом, — повторил Кларенс.

— Ну, еще бы! В нашей стране столько всего, что может быть вам интересно, ведь вы — из такой молодой страны!

— Да, конечно, — сказал Кларенс, повернув к хозяйке свою бородку и стараясь говорить как можно более искренне.

Тут в коридоре задребезжал старый раздрызганный колокольчик, сзывавший постояльцев к трапезе. Гордо размахивая этим колокольчиком, по коридору прошествовала сутулая горничная.

Столовой служила большая, темная, плохо проветриваемая гостиная, в которой стены были обиты пунцовой тканью. Когда Кларенс вошел, все уже были в сборе. Бразильцы о чем-то оживленно беседовали. Старый генерал — грузный человек с крошечной головкой, на которой его глаза были почти незаметны, — меланхолично помешивал ложкой суп, но не ел. Донья Эльвира усадила Кларенса рядом с массивной рыжей англичанкой, и он сразу понял, что это соседство к добру не приведет. На лице англичанки лежал густой слой косметики; ей, наверно, казалось, что она совершенно обаятельна, — и действительно, какое-то непонятное обаяние в ней было, — но глаза у нее, когда Кларенс сел с ней рядом, загорелись зловещим огнем.

— Если вы приехали сюда развлекаться, то в Мадриде вы развлечений не найдете, — начала она с места в карьер. — Я здесь уже двадцать лет, а никаких развлечений в глаза не видела. Но теперь мне все это так осточертело, что я уже ничего и не хочу. Книг я не читаю, в кино не хожу, иногда только проглядываю газеты. Не понимаю, почему в Испанию приезжает столько американцев. Тут их — что собак нерезанных.

Недавно в Сантандере был арестован американский епископ — за то, что он купался в плавках, как у вас там принято.

— Вот как?

— Эти испанцы ужасно строгие по части одежды. Наверно, знай они, что это епископ, они бы оставили его в покое. Однако ведь в воде...

— Странно, — сказал Кларенс. — Но, по крайней мере, это не мой епископ. У нас никаких епископов нет.

— Но зато у вас есть конгрессмены. Недавно в барселонском курьерском у двух ваших конгрессменов украли брюки — когда они захотели чуть-чуть вздремнуть. Воры пролезли в купе через окно с крыши вагона. И это случилось среди бела дня. У каждого из них было что-то около двух тысяч долларов. Что, разве в Америке не пользуются бумажниками? Почему они держали деньги в карманах брюк?

Кларенс нахмурился.

— Да, я читал об этом, — сказал он. — Не могу вам сказать, почему у них в карманах брюк было столько денег. Может быть, на Юге так принято. Но, в общем-то, это не мое дело.

— Боюсь, что я нагоняю на вас тоску, — сказала англичанка.

По ее виду было ясно, как день, что она этого вовсе не боится. В глазах у нее сверкала дерзкая радость. "Она ловит меня на крючок, — подмуд Кларенс. — Зачем?" Ему это было непонятно.

— Ну, что вы, вы вовсе не нагоняете на меня тоску, — покривил душой Кларенс, не найдя, что сказать.

— А если и нагоняю, то я в этом не виновата, — объявила англичанка. — Вы знаете, Стендаль писал, что тоска — это тайный принцип англичан.

— Вот как? — спросил Кларенс.

Он поглядел на нее с интересом. Да, в ней что-то было. Он в душе пожалел ее и подумал, что, пожалуй, как бы там ни было, а не такое уж это неудачное знакомство.

— Может статься, Стендаль и прав. Видите ли, когда-то я довольно много читала. Я была уж какая культурная! Но все это я делала ради секса, а когда с этим было покончено...

— Ну, что вы говорите! Я бы не сказал, что...

— Мне не следовало бы так говорить. Может быть, это из-за погоды. Все последние дни шли жуткие дожди. Ни ээ что бы не поверила, что в Испании могут хлестать такие ливни! В жизни не видела ничего подобного. Это, наверно, ваши во всем виноваты.

— Наши? Кто это — наши?

— Американцы! Все это из-за атомной бомбы. С тех пор как вы начали проводить эти дурацкие испытания, погода совершенно изменилась. И никому не известно, к чему приведет выпадение всех этих радиоактивных осадков. Может, это, как говорят, начало конца.

— Из-за вас я начинаю себя неловко чувствовать, — сказал Кларенс. — Но почему вы думаете, что всего опаснее наши бомбы? Ведь не у нас одних есть атомные бомбы.

— Но мы только и читаем, как американцы их то и дело взрывают. Взрывы производятся под водой. От этого в морском дне образуются глубокие ямы. Туда устремляются холодные слои воды, и они охлаждают земную кору. А от этого начинает сморщиваться поверхность земли. Один Бог знает, чем все это может кончиться.

Кларенс покраснел и потупился. Тушеное мясо и жареный картофель у него на тарелке, к которым он пока еще не приотронулся, уже были чуть теплыми.

— Я не очень-то разбираюсь в науках, — смущенно сказал Кларенс. — Но помню, я где-то читал, что промышленность выделяет ежегодно шесть миллиардов тонн двуокиси углерода, и поэтому земля все время нагревается, так как наличие в воздухе двуокиси углерода не пропускает выделяющегося тепла. Следовательно, никакого нового ледникового периода на земле уже не может быть.

— Да, а как насчет углерода-14? — торжествующе спросила англичанка. — Вы, американцы, наполняете всю атмосферу углеродом-14, а это очень опасно.

— Мне об этом ничего не известно. Я — не все американцы. Так же, как вы — это не все англичане. Вы не участвовали в разгроме Непобедимой Армады. Я не осваивал Дикого Запада. Вы — не Уинстон Черчилль, а я — не Пентагон.

— А вы, оказывается, немного фанатик! — вдруг заявила англичанка.

— А вы — назойливая старая перечница! — в ярости крикнул Кларенс.

Он встал из-за стола и ушел к себе в номер.

Через полчаса англичанка постучала к нему в дверь.

— Я ужасно извиняюсь, — сказала она. — Боюсь, я слишком погорячилась. Но ведь вы же не обидитесь, правда? Мы останемся друзьями? А рассердиться — это иной раз бывает полезно. Вам идет, когда вы сердитесь.

У англичанки был действительно виноватый и очень дружелюбный вид.

— Ничего, все в порядке. Извините меня, я тоже погорячился, — пробурчал Кларенс.

В конце концов, если он поссорится с англичанкой, разве это поможет ему искать рукописи Гонзаги? Все можно было делать правильно или неправильно. Самое главное сейчас — разыскать стихи Гонзаги, это нужно сделать хотя бы ради памяти самого Гонзаги. Если не так — то зачем он сюда приехал?

Размышляя обо всем этом на следующее утро, Кларенс решил, что мисс Уолш — назойливая рыжая англичанка — оказала ему услугу тем, что привела его в раздражение. Сама того не зная, она подвергла испытанию серьезность цели, приведшей его в Испанию. Он понял, что он не имеет права, приехав в Испанию по важному делу, вести здесь себя глупо и грубо. И он еще больше утвердился в своей решимости, снова вспомнил о том, сколь многим он обязан Гонзаге и его стихам.

Позавтракав, Кларенс поспешно отправился в книжный магазин посмотреть, какие книги Гонзаги сейчас продаются в Испании. У Бухольца он обнаружил всего лишь один томик Гонзаги. Раньше он этой книги никогда не видел: в томике были собраны письма, которые поэт написал своему отцу. На фронтисписе была фотография Гонзаги: он был одет в форму лейтенанта испанской армии и сидел, выпрямив спину, за клавиатурой старинного фортепьяно, глядя прямо в объектив фотоаппарата. Под фотографией была цитата

из Гонзаги: "Каждый раз, как мне удастся в одном из этих марокканских городишек добраться до рояля, я, поиграв минут десять-пятнадцать, начинаю понимать, как мне живется, что я ощущаю. А иначе мне это и самому не ясно." Обнаружив эту книгу, Кларенс удовлетворенно заулыбался. О, какой человек был этот Гонзага — какая личность! На первой странице томика была ранняя редакция популярного стихотворения, которым Кларенс давно восхищался, — стихотворения, начинавшегося так:

**Я жажду услышать звук,
Исходящий не от меня, —
Голос другого человека,
Поистине другого...**

Около одиннадцати часов утра Кларенс забрел в какое-то кафе, сел там за столик и прочел книжку от доски до доски. Это было великолепно. Кларенс поблагодарил Бога за то, что тот свел его в Калифорнии с эмигрантом-республиканцем и что тот заложил в его душу мысль поехать в Испанию.

Закончив книгу, Кларенс с неохотой покинул кафе и взял такси, которое привезло его на улицу Гарсия де Паредес, где жила мисс Фейт Ангер. Кларенсу страсть как не хотелось заниматься темными валютными махинациями, но у него было мало денег, и без незаконных песет он бы не выкрутился.

Ему снова повезло. Мисс Ангер оказалась совсем не такой, какой Кларенс ее себе представлял, — вовсе не разбитной искусствоведкой, промышленяющей на черном рынке. Она была молода и очень привлекательна, и у нее было удлиненное, умное, белое лицо. Волосы над своим удлиненным лицом она зачесывала назад и связывала их сзади в толстую, тугую косу. Глаза у нее были необыкновенно ясные. Кларенса она сразу же очаровала. На него произвело впечатление даже то, что зубы у нее — в контраст с очень белой кожей — вовсе не отличались белизной. Это доказывало, что она — настоящая. Вокруг шеи у нее была повязана лента, на которой болталась большая серебряная медаль.

— Это что у вас, что-то религиозное? — спросил Кларенс.

— Нет. Хотите взглянуть?

Мисс Ангер наклонилась вперед, чтобы медаль свободно болталась. Кларенс взял в руку еще теплый серебряный кружок и прочел: "Медаль имени Элены Уэйт за успехи в исторических исследованиях".

— Вас наградили этой медалью?

— Да.

— Зачем же вы занимаетесь тут такими темными делами?

— А вы зачем сюда пришли? — спросила мисс Ангер.

— Мне нужны песеты.

— А нам нужны доллары. Мы с моим женихом хотим купить дом.

— Понимаю.

— Кроме того, благодаря этому мы встречаемся с кучей разных людей. Вы были бы просто поражены, если бы поняли, как мало интересных знакомств может быть у американки в Мадриде. Не могу же я торчать все время в музее Прадо или в публичной библиотеке. А проводить время с посольскими — это все равно, что целоваться с рыбой. Мой жених прилетает сюда только два раза в месяц. Вы тут в отпуске?

— Что-то вроде этого.

Она ему не поверила. Она сразу же поняла, что он приехал в Испанию с какой-то определенной целью. Кларенс не мог ей рассказать, с какой именно, но почему-то ему было приятно, что она с ходу его раскусила.

— Как вам нравится в пансионе "Ла Гранха"?

— Там неплохо. Вчера меня за обедом выводила из себя какая-то англичанка: сначала она рассуждала про атомную бомбу, а потом сказала, что я, должно быть, фанатик. В конце концов она, наверно, решила, что я просто сумасшедший.

— Каждый ведет себя как может: выше себя не прыгнешь, — заметила мисс Ангер.

— Вот и я так же думаю.

Раньше Кларенс полагал, что женщина, обрученная с летчиком, видимо, должна глядеть на него сверху вниз. Оказалось, что ничего подобного. И теперь Кларенс удивлялся, чем та-

кой человек, как он, мог заинтересовать такую женщину, как Фейт Ангер.

— Если у вас нет никаких других планов, может быть, вы пообедаете со мной? — предложил Кларенс. — Этим вы спасете меня от мисс Уолш.

Она согласилась, и они отправились обедать. Хотя было довольно жарко, мисс Ангер надела нитяные перчатки: в Мадриде принято было считать, что без перчаток ходят только простолюдинки. Пока они шли по улице, мисс Ангер сообщила Кларенсу, что она еще не может дать ему много песет; но, когда прилетит ее жених, она обменяет ему деньги по тому курсу, который дается в "Трибюн". "И это будет в тот день, — подумал Кларенс, — когда вернется ее летчик". Казалось бы, какое ему дело до сердечных увлечений мисс Ангер? Но почему-то при мысли о возвращении летчика он неприятно поежился.

Около Министерства военно-морского флота их задержала религиозная процессия. Ее возглавляли священники с хоругвями, а за ними четверо мужчин несли на носилках статую Мадонны. За Мадонной следовала кучка босых вдов в трауре, лица их были скрыты под черными мантильями. Дальше шла толпа старух — большей частью это, наверно, были старые девы; глаза у них восторженно горели. Оркестр играл траурный марш Бетховена.

— Ну, разве это не красиво? — сказал Кларенс, когда они уселись за столик. — Я очень рад, что приехал в Испанию.

Мисс Ангер рассмеялась.

— Вы слишком серьезно воспринимаете Испанию, — сказала она. — Но мне это нравится. Вам бы надо съездить в Толедо. Бывали вы там?

— Нет.

— Я часто туда езжу по роду своих занятий. Хотите поехать со мной? Я вам там покажу кучу интересных вещей.

— С огромным удовольствием. А когда вы в следующий раз туда едете?

— Завтра.

Кларенс расстроился.

— К сожалению, — сказал он, — завтра я поехать не могу. Я ведь только вчера прибыл, и первые дни я буду крайне занят. Вы, кажется, уже догадались, что я здесь не просто так, а с определенной целью, и я не могу себе позволить терять время. У меня сейчас будет много дел.

— А что это за цель? Секрет?

— Некоторым образом. Видите ли, то, что я собираюсь сделать, несколько противозаконно. Но это меня так увлекло, что мне хочется с кем-то поделиться. Вы когда-нибудь слышали об испанском поэте по имени Мануэль Гонзага?

— Гонзага? Кажется, да. Но, боюсь, его стихов я никогда не читала.

— Зря: обязательно почитайте. Это совершенно гениальный поэт, один из самых самобытных современных испанских поэтов — такого же ранга, как Хуан Рамон Хименес, Лорка, Антонио Мачадо. Я занимался его творчеством в университете, и оно очень много для меня значит. Чтобы понять роль Гонзага в испанской поэзии, нужно сначала представить себе современную литературу в виде некоего всемирного учредительного собрания, которое решает, чем именно должно сейчас заняться человечество, как оно должно употребить отпущенное ему время, что оно должно чувствовать, что видеть, откуда почерпнуть мужество, как любить, как достичь чистоты или величия — ну, и так далее. Литература всегда отвечала на все эти вопросы, но мир не очень-то пользовался ее советами. Бог теперь больше не управляет людскими судьбами так, как он это делал раньше, и люди уже давно не способны испытывать ощущение, что их жизнь продумана и взвешена заранее от колыбели до могилы, так что они могут уверенно жить, твердо зная, что их место и роль на земле — это не случайность. Вот этой-то уверенности, этого твердого знания людям и недостает, а поэты стараются пробудить все это в людях. Потому-то поэты — и вправду "непризнанные законодатели", как сказал Шелли, и они — то самое, о чем писал Уитмен: "Когда ты коснешься меня, ты можешь быть уверен, что ты коснулся человека". Одни поэты превыше всего ставили красоту, другие — совершенство пропорций, но лучшим из них искусство для искусства довольно быстро

надоедало. Некоторые видели свой долг в том, чтобы смело ринуться в гущу жизни и ободрять людей — так сказать, бороться с паникой во время пожара в театре. Самые великие ушли от мира, как Лев Толстой, который стал социальным реформатором, или Рембо, уехавший в Эфиопию, — он до **конца ЖИЗНИ МОЛИЛ** священников: "**Montrez-moi, montrez** — Покажите мне что-нибудь!" У этих гениев была страшная жизнь. Может быть, они взвалили на себя слишком большую ответственность. Они понимали, что, если своими стихами и романами о н и меняют ценности, значит, какая-то в этих ценностях гниль. Один человек не может создать такие ценности. Конечно, он может попытаться, если свое вдохновение он употребляет на то, чтобы создавать ценности, а не на то, чтобы создавать всего лишь слова. Если всю ответственность за смысл и за прояснение понятий добра и зла возложить на поэтов, это их неминуемо должно сломить. Однако в стихах поэтов отражается то, что происходит с каждым из нас. Есть люди, которые считают, что они отвечают за все. Гонзага от этого свободен, и потому он мне так нравится. Вот. Послушайте, что он говорит в одном из своих писем. Я нашел этот чудесный сборник сегодня утром.

Дрожащими руками Кларенс выложил томик писем Гонзага на ресторанный столик. На невозмутимом лице мисс Ангер выразилось нечто большее, чем спокойный интерес интеллектуалки.

— Послушайте, — продолжал Кларенс. — Гонзага пишет своему отцу: "Многим кажется, что они должны высказаться до конца, сказать все — невзирая на то, было ли это уже сказано прежде, или никем не было сказано, или много раз повторялось и переживалось — настолько много, что мы должны бы счесть все наши слова бесполезными, если только мы не сумеем понять, что мы присоединяем свои голоса к общему хору. Присоединяем, ибо нами движет духовный порыв. Тогда — и только тогда". Или вот это: "Стихотворение может пережить свою тему — например, мое стихотворение о девушке, которая пела песни в поезде, — но поэт

не имеет права на это уповать. У поэта — не больше прав, чем у этой девушки". Ну, вы видите, что это был за человек?

— Действительно, это производит впечатление, — сказала мисс Ангер.

— Я приехал в Испанию, чтобы найти здесь некоторые из его неопубликованных стихов. У меня есть некоторые средства, но я так до сих пор и не нашел, чем мне заняться в жизни. Во мне самом нет ничего особенного — разве что какие-нибудь мелочи. Потому-то я сюда и приехал. Многие люди называют себя лидерами, целителями, пастырями, посланцами Бога, пророками или свидетелями; но Гонзага был человеком, который говорил только как человек; в нем не было ничего фальшивого. Он никогда не пытался играть роль, позировать; он хотел видеть. Труднее всего делать то, что бесконечно просто. К несчастью для всех нас, он погиб еще молодым. Но он оставил цикл стихов, посвященных некой графине дель Камино, и я хочу эти стихи найти.

— Это благородная задача, — сказала мисс Ангер. — Желаю вам удачи. Надеюсь, вы встретите людей, которые вам помогут.

— А почему бы и нет?

— Не знаю. А вы не боитесь нажать себе неприятности?

— По-вашему, у меня есть основания опасаться неприятностей?

— Если хотите знать мое откровенное мнение — да.

— Может быть, мне удастся найти эти стихи — вот и все, — сказал Кларенс. — Кто знает?

* * *

"Слава Богу, начинается!" — подумал Кларенс, получив письмо от Гусмана дель Нидо. Член Кортесов приглашал Кларенса к ужину. Весь день Кларенс был в возбуждении. С самого утра погода все время менялась: то палило солнце, то вдруг налетал дождь — и, как и следовало ожидать, рыжая мисс Уолш торжествующе заявила Кларенсу за обедом: "Ну, что я вам говорила?" Но ближе к вечеру небо снова очистилось. В половине восьмого Кларенс влез в трамвай

и отправился к Гусману дель Нидо. Трамвай бесконечно кружил по улицам, словно хотел продемонстрировать Кларенсу весь Мадрид, из конца в конец, но наконец добрался до нужной остановки. Кларенс сошел с трамвая и двинулся по голой каменной улице вверх на холм, где находилась вилла сеньора дель Нидо. Неожиданно рванул ветер, все небо заволокло черной тучей — **una tormenta**, как называют это мадридцы, — и хлынул проливной дождь. На улице было решительно негде спрятаться, и Кларенс сразу же промок до нитки. Вдобавок ему пришлось бесконечно долго — минут пять — ожидать у ворот, пока кто-нибудь отзовется на его звонок. Наконец появился привратник с зонтиком в руке и, прикрывая Кларенса, провел его через сад в дом. Как раз когда Кларенс подошел к входной двери, дождь — словно по волшебству — разом прекратился.

Так что, когда Гусман дель Нидо вышел навстречу гостю, Кларенс представлял собою самое плачевное зрелище: он неуклюже двигался, стараясь не наследить, с его шерстяного костюма капала вода, и от него исходил какой-то неприятный запах — точно от мокрой собаки.

— Добрый вечер, сеньор Файлер, — сказал Гусман дель Нидо. — Какая жалость, что пошел дождь! Он испортил вам костюм — но зато у вас теперь здоровый, румяный цвет лица.

Они пожали друг другу руки; Кларенс посмотрел на большой крючковатый нос и гладкую загорелую кожу хозяина дома и неожиданно почувствовал ужасное волнение при мысли о том, что человек, с которым он сейчас поздоровался, был некогда лично знаком с великим Гонзагой — этот широкоплечий, плотный человек в безукоризненном хлопчатобумажном костюме, вежливо наклоняющий крупную голову, обнажающий в улыбке белоснежные зубы, протягивающий холеную, без единого волоска руку; этот Гусман дель Нидо когда-то дружил с Гонзагой и, значит, тоже стал частью легенды. Кларенс сразу же ощутил, что дель Нидо, если захочет, запросто выставит его полнейшим дураком и сделает это всего лишь при помощи молчаливой иронии своих безукоризненных манер. Было ясно, что дель Нидо — из тех людей, при которых все стушевываются, в том числе даже

сам Гонзага, — из тех людей, про которых Гонзага когда-то писал: "Уходи! Нет у тебя святынь!"

— Письмо, которое я вам послал... — начал было Кларенс, семена за хозяином в столовую, в которой ожидали другие гости.

— Мы поговорим об этом позднее.

— Как я понимаю, — настаивал Кларенс, — вы отдали некоторые рукописи Гонзага графине дель Камино...

Но дель Нидо уже говорил с кем-то из гостей. Слуга зажег свечи, и все стали рассаживаться за столом.

У Кларенса пропал аппетит.

Его посадили между итальянским монсеньером и дамой из Египта, постоянно жившей в Нью-Йорке и очень бегло говорившей по-английски с примесью самого ужасного жаргона. Кроме них за столом сидел какой-то немец — владелец страховой компании: его усадили между сеньорой дель Нидо и ее дочерью. Со своего конца стола хозяин дома все время играл первую скрипку в разговоре. Кларенс снова и снова спрашивал себя, как могло случиться, что Гонзага мог ему доверять. Это был, как сказал Паскаль, создатель циничных острот и недостойный человек. Когда Кларенсу пришли в голову эти слова Паскаля, он повернулся к монсеньеру, надеясь, что хоть с ним будет о чем поговорить. Но монсеньер вроде бы интересовался только коллекционированием марок. Кларенсу это было чуждо, и поэтому монсеньер тоже не мог ему сказать ничего интересного.

Гусман дель Нидо продолжал говорить не переставая. Он говорил про современную живопись, про детективную литературу, про древнюю Россию, про кино, про Ницше. Его дочь, мечтательно глядя на огонь свечей, казалось, не слушала; сеньора дель Нидо лишь изредка вставляла отдельные междометия. Египтянку забавлял запах, исходивший от промокшего костюма Кларенса, и она что-то заметила насчет сырой шерсти.

— В Кордове недавно арестовали американца, — сообщил Гусман дель Нидо. — Он украл шляпу солдата гражданской гвардии, чтобы увезти ее домой в качестве сувенира.

— Неужели это такая уж невидаль?

— Здешние тюрьмы покажутся ему теснее американских. Надеюсь, вы не обидитесь, если я расскажу анекдот об американце в Испании?

— Почему я должен обидеться? — сказал Кларенс.

— Отлично. Ну, так вот, один американец приехал в Испанию, и хозяин дома, где он гостил, ничем не мог его удивить. Американец то и дело говорил: "А небоскребы у нас — выше, чем ваши дворцы. А машины у нас — больше. А кошки у нас — толще". Наконец испанцу это надоело, и он подложил своему гостю в постель омара, а когда американец, увидев омара, пришел в ужас, испанец спокойно сказал: "А, вы нашли в постели клопа! А что, у вас в Америке есть такие большие клопы?"

Все засмеялись, и Кларенс — ненатуральным смехом — громче всех.

— Может быть, вы расскажете нам какой-нибудь американский анекдот? — спросил дель Нидо.

Кларенс подумал.

— Хорошо, — сказал он. — На улице встречаются две собаки. Старые подруги. Одна говорит: "Хелло!" Другая отвечает: "Уна коса террибла!" Первая спрашивает: "Что это такое? Что это ты мелешь?" Вторая отвечает: "Я изучаю иностранные языки".

Мертвое молчание. Никто не засмеялся.

— Боюсь, сейчас дурак родился, — сказала египтянка.

— Это английский или американский анекдот? — спросил дель Нидо.

Его вопрос послужил поводом к обсуждению. Что такое речь американцев — это диалект английского языка? Или же это особый язык? Никто не мог дать толкового ответа, и Кларенс наконец сказал:

— Не знаю, особый это язык или нет, но на нем что-то говорят. Люди на нем ругаются, жалуются, шутят и так далее — так же, как во всем мире.

— Поделом нам, — сказал дель Нидо. — Это верно, мы несправедливы к американцам. Если подумать, то единственные настоящие европейцы, которые сейчас еще остались, — это именно американцы.

— Как так?

— У самих европейцев сейчас нет того спокойствия духа, которое необходимо, чтобы оценить прекрасное. Жизнь у нас слишком тяжела, и общество слишком нестабильно.

Кларенс понял, что дель Нидо над ним издевается — намекает на то, что он, американец, не способен по-настоящему понять и оценить стихи Гонзаги. В Кларенсе начала подниматься глухая ненависть к дель Нидо. Но того, к счастью, в этот момент вызвали к телефону, и Кларенсу осталось лишь бросать яростные взгляды на лежавшую перед ним салфетку. Кажется, одна лишь сеньорита дель Нидо поняла, что Кларенс был обижен.

Снова Кларенс повторил себе, что не так он должен себя вести, если хочет найти неизданные стихи Гонзаги. Эта мысль его успокоила. Он съел несколько ложек мороженого и взял себя в руки.

— А почему вы так интересуетесь творчеством Гонзаги? — спросил его Гусман дель Нидо, когда после ужина они вышли в сад и стояли под финиковой пальмой.

— Я в колледже изучал испанскую литературу и стал гонзагианцем, — ответил Кларенс.

— Подумать только, разве это не странно? Простите меня, но, по-моему, Гонзага — это типичнейший испанец, плоть от плоти Испании. Я как сейчас вижу моего старого друга и себя в этих жутких мундирах, наши лица и руки обожжены солнцем пустыни, и я спрашиваю себя: как могло случиться, что стихи Гонзаги оказывают такое воздействие на людей?

— Бог знает! Мне бы и самому хотелось это понять. Но самое главное — это то, что он такое воздействие все-таки оказывает. И я вам могу сказать, почему стихи Гонзаги оказывают такое воздействие на меня. Дело в том, что в своих стихах Гонзага решает не только собственные проблемы. Он — всеобъемлющий, он нужен всем. Мне иной раз приходит в голову, что действительно великие стихи — это только те стихи, которые совершенно необходимы. До них было молчание. И дальнейшее — молчание. Стихотворение начинается там, где оно должно начи-

наться, и заканчивается там, где оно должно заканчиваться, — и потому оно перестает быть сугубо личным переживанием.

Теперь Кларенс пытался доказать Гусману дель Нидо, что и он способен понимать стихи Гонзаги. И в то же время ему было совершенно ясно, что он мечет бисер перед свиньями. Гусману дель Нидо все это было глубочайшим образом безразлично. Безразлично, безразлично, безразлично! Ему было глубочайшим образом все равно. Что можно доказать людям, которым все глубочайшим образом безразлично?

— Знаете, зачем я к вам приехал? — продолжал Кларенс. — Я хотел бы узнать, что стало с последними стихами Гонзаги. Что они собой представляли?

— Это была великолепная любовная лирика. Но где они теперь, я не знаю. Они были посвящены графине дель Каминно, и Гонзага завещал отдать их ей. Что я и сделал.

— И вы не оставили себе копий?

— Нет. Эти стихи принадлежали графине.

— Разумеется. Но ведь не только ей, а и всему человечеству.

— В мире полно великой поэзии — человечеству есть что читать: Гомер, Данте, Кальдерон, Шекспир. Какая разница, чьими стихами наслаждаться?

— Должна быть разница. Кальдерон не был вашим другом. И вашим современником. А Гонзага был. Где теперь графиня дель Каминно? Она, кажется, умерла, не так ли? А что после, нее случилось с этими стихами? Кому она могла их отдать, как вы думаете?

— Не знаю. У нее был секретарь, дон Франсиско Польво. Славный старик! Он тоже умер, несколько лет тому назад. Но у него есть племянники, они живут в Алькала де Энарес. Там, где родился Сервантес. Они — на гражданской службе, и, как я слышал, это очень приличные люди.

— И неужели же вы никогда их не спрашивали, куда делись стихи вашего покойного друга? — в изумлении спросил Кларенс. — Неужели вам не хотелось их разыскать?

— Я думал, что надо бы попробовать их разыскать, да все как-то руки не доходили. Я уверен, что графиня распорядилась стихами вполне достойно.

На этом разговор окончился, и Кларенс был этому рад. Он чувствовал, что сеньору дель Нидо страсть как хотелось бы очернить своего покойного друга в глазах Кларенса — рассказать, что Гонзага был бабник, пьяница и наркоман, что он был нечист на руку, что он болел триппером, что он был убийцей, и тому подобное. Ведь Гонзага пошел добровольцем в армию: это кое о чем говорило. Но Кларенс не был расположен слушать воспоминания Гусмана дель Нидо.

* * *

— Это ведь так естественно: если человек действительно велик, то люди, казалось бы, должны соображать, как воспринимать величие; но когда встречаешься с таким человеком, как этот дель Нидо, то спрашиваешь себя: действительно ли люди понимают, что такое величие?

Так несколько дней спустя Кларенс изливался перед мисс Ангер.

— Он рад, что у него нет сейчас этих стихов, — сказала мисс Ангер. — Если бы они были у него, он должен был бы что-нибудь с ними делать, и это его пугало бы: ведь он занимает такой высокий пост, а Гонзага — не очень ко двору в нынешней Испании.

— Именно так, вы правы, — сказал Кларенс. — Но кое-какую услугу он мне все-таки оказал. Он дал мне адрес племянников секретаря графини. Я им уже написал, и они пригласили меня к себе в Алькала де Энарес. В ответном письме они про стихи даже не упомянули — но, может быть, это для секретности. В последнее время происходит что-то неприятное.

— А в чем дело?

— По-моему, за мной следит полиция.

— Ну что вы!

— Нет, я серьезно. Вчера кто-то обыскал мой номер. Я это точно знаю. Когда я пытался выяснить что-нибудь у хозяйки пансиона, она стала юлить и ничего не ответила. Да ей и вообще до этого нет дела.

— Но чего ради полиции обыскивать ваш номер?

— По-моему, они просто считают меня подозрительной личностью. И, кроме того, на следующий день после того, как я побывал у дель Нидо, я сделал политическую ошибку. Хозяйка за столом стала хвастаться своим здоровьем и сказала, что она — крепкая, как гибралтарская скала — *una roca*. А я, не подумав, выпалил: "Gibraltar Español!" Хозяйка — ужасная патриотка, и она, наверно, была оскорблена в лучших чувствах.

— Почему?

— Видите ли, во время войны, когда англичане терпели поражения от немцев, в Испании велась усиленная агитация за возвращение Гибралтара. Везде были лозунги: "Gibraltar Español!" Ну, и теперь испанцам, конечно, не нравится, когда им напоминают, что они поддерживали нацистов, чтобы те преподнесли им Гибралтар, отобрав его у англичан. И хозяйка, наверно, почувствовала ко мне что-то вроде политического недоверия.

— А вам какая разница, если ничего дурного вы на самом деле не делаете?

— Когда за человеком слишком усиленно следят, он почти всегда рано или поздно что-нибудь сделает, — ответил Кларенс.

* * *

В воскресенье Кларенс поехал в Алькала де Энарес в гости к двум племянникам покойного Франсиско Польво и их женам и дочерям.

Это оказалась на редкость счастливая, жизнерадостная семья. Все они то и дело — по поводу и без повода — раздражались буйным хохотом. Они хохотали, когда говорили сами, и хохотали, когда слушали других.

— Мы будем пить чай в саду, — сказал дон Луис Польво.

В семье у него было домашнее прозвище "Англичанин", потому что двадцать лет тому назад ему довелось побывать в Лондоне, где он прожил несколько месяцев. Все в семье называли его "Милорд", а он развлекал их, ведя себя так, как, по их представлениям, должен вести себя настоящий

ingles. У дона Луиса был даже шотландский терьер по кличке Дуглас.

Когда Кларенс появился в доме, все дружно закричали дону Луису:

— Милорд, у тебя есть возможность поговорить по-английски! А ну-ка, поговори с ним!

— Джолли кантри, а? — сказал по-английски дон Луис с таким произношением, что Кларенс едва его понял; кажется, этой фразой познания дона Луиса в английском языке исчерпывались.

— Да, — ответил Кларенс по-испански.

— Еще, еще! — закричала хором вся семья.

— Черинг Кросс, — сказал дон Луис.

— Ну, ну, Луис, поговори еще!

— Пиккадилли! А больше я ничего не помню.

Подали чай в саду. Кларенс пил и потел. По стене дома и по виноградным лозам сновали юркие ящерицы. Жены сидели и вышивали. Дочери щебетали по-французски — сплетничали о Кларенсе. Никто явно не принимал его всерьез, никто явно не верил ни одному его слову. Ему казалось, что в руках он держит не блюдо, а кольцо Сатурна.

После чая Кларенсу показали дом. Дом был большой, старый, холодный, с толстыми стенами и весь напичканный портретами и реликвиями предков — старинным холодным оружием, кольчугами, коваными нагрудниками, кирасами, шлемами, пистолетами и мушкетами. В одной из комнат на стене красовался портрет какого-то генерала в пышной форме, какую носили во время наполеоновских войн. Мужчины начали примерять шлемы, навешивать себе на пояс сабли, а потом они облачились в мундиры своих предков и в полной амуниции проследовали на террасу, где сидели дамы. Дон Луис взял наполеоновский мушкет и, дурачась, проделал несколько артикулов. Все это сопровождалось взрывами хохота. Кларенс тоже смеялся, но — неизвестно почему — на сердце у него становилось все тяжелее.

Дон Луис навел мушкет и закричал:

— Атомная бомба! Бум!

Это вызвало целый шторм смеха. Женщины тряслись, точно в эпилептическом припадке, мужчины попадали со стульев, на глазах у них выступили слезы. Терьер Дуглас прыгнул на дону Луиса и стал лизать ему нос.

Дон Луис бросил вдаль палку и крикнул:

— Дуглас, бери! Дуглас, бери! Атомная бомба! Атомная бомба! Бум!

Кларенсу кровь бросилась в голову. Поясничанье дона Луиса было еще одной атакой на него — американца. "О, — подумал он, — и все это я вынужден сносить! Все это наказание — ради того, чтобы разыскать стихи Гонзаги!"

А дон Луис продолжал орать:

— Хиросима! Нагасаки! Бикини! Бум!

Шутка, конечно, была не из самых удачных — хотя, надо признать, дон Луис, кроме всего прочего, пародировал и угасшее воинское величие своей собственной страны.

Кларенсу удалось прервать этот затянувшийся фарс. Он подошел к дону Луису, положил руку на мушкет и спросил, не могут ли они потолковать наедине. Последовал новый приступ смеха. Женщины о чем-то зашептались, девушкам предложение Кларенса явно не понравилось; он слышал, как одна из них прошептала:

— **Non, il n'est pas gentil.**

Сохраняя декорум, Кларенс выдержал и это. "К черту их дурацкий чай!" — подумал он. Рубашка у него взмокла и прилипла к телу.

— От нашего дяди мы в наследство никаких бумаг не получили, — сказал дон Луис. — Хватит, Дуглас! — он швырнул палку в колодез. — Дядя оставил нам с братом вот этот старый дом и землю, но если были какие-то бумаги, то их забрал мой двоюродный брат, Педро Альварес-Польво, он живет в Сеговии. Он — очень интересный человек. Он работает в Испанском национальном банке, но он — очень культурный человек. У графини не осталось наследников, и она очень любила моего дядю. А мой дядя очень любил Альвареса-Польво. У них были общие интересы.

— Ваш дядя когда-нибудь упоминал про Мануэля Гонзагу?

— Не помню. У графини было много поклонников среди писателей, художников. А вас этот Гонзага очень интересует?

— Да. А почему бы и нет? Может быть, вы когда-нибудь заинтересуетесь каким-нибудь американским поэтом?

— Я? Нет!

Дон Луис засмеялся — было ясно, что предположение Кларенса кажется ему полнейшей нелепостью.

Что за люди! К черту этих жизнерадостных идиотов!

— По-вашему, ваш двоюродный брат сеньор Альварес-Польво может что-то знать?

— О, он знает все на свете! — убежденно сказал дон Луис — Мой дядя ему очень доверял. Он наверняка скажет вам что-то определенное, можете на него положиться. Я дам вам рекомендательное письмо.

— Если вам не трудно.

— Ну, что вы, что вы, с большой радостью.

Дон Луис был воплощенная любезность.

* * *

Вернувшись автобусом в Мадрид, Кларенс позвонил мисс Ангер. Он ждал от нее ободрения и утешения. Но она его не пригласила.

— Завтра я дам вам песеты, — сказала она.

Этим она тактично намекнула, что в Мадриде приземлился ее летчик; и Кларенсу показалось, что у нее в голосе он уловил оттенок сожаления. Может быть, она вовсе и не любит своего жениха? Почему-то Кларенсу сдавалось, что идея нелегального обмена песет на доллары принадлежала не ей, а летчику. Ей было явно не по себе от того, что она занимается валютными спекуляциями, но она не могла в этом признаться малознакомому человеку, потому что была слишком предана своему летчику.

— Я позвоню в конце недели, это не к спеху, — сказал Кларенс. — Все равно я сегодня занят.

Как ни грустно, но завтра придется-таки ему обменять сколько-то долларов в банке по грабительскому официальному курсу.

Разочарованный, Кларенс повесил трубку. Ему бы такую женщину! У него мелькнула мысль, что добиваться

живой женщины — куда более стоящее занятие, чем гнаться за мертвым поэтом. Однако до стихов мертвого поэта было уже рукой подать — чего Кларенс не мог сказать о живой женщине. Он написал письмо Альваресу-Польво и лег на кровать у себя в номере читать Гонзагу.

* * *

Кларенс приехал в Сеговию в воскресенье утром. Он снял номер в отеле, побродил по улицам, побывал в Алькасаре и после полудня засел в оговоренном кафе напротив акведука, ожидая Альвареса-Польво. Тот появился в назначенное время. У него был большой рот, как у его родственника дона Луиса, крупный нос и глубоко посаженные глаза.

— Вы знаете, зачем я приехал? — спросил Кларенс.

— Знаю. Но давайте не будем с самого начала говорить о делах. Как я понимаю, вы в Сеговии впервые, так позвольте мне проявить немного гостеприимства. Мы, жители Сеговии, очень любим свой город — этот древний, прекрасный город, — и мне доставит большое удовольствие показать вам наши достопримечательности.

Когда Педро Альварес-Польво произнес слова "говорить о делах", сердце Кларенса подпрыгнуло куда-то к горлу. Может быть, дело теперь только за ценой? Тогда все в порядке, стихи он получит. Настроение у Кларенса сразу же поднялось, и он весь затрепетал, как флаг на ветру.

— Разумеется, — сказал он. — Большое спасибо. Сеговия — действительно прекрасный город. Я в жизни своей не видел такой красоты, как в Сеговии.

Альварес-Польво взял Кларенса под руку.

— Я постараюсь, чтобы вы не только увидели, но и по-настоящему. Я изучал свой город, как ученый. Я влюблен в него. И мне редко выпадает радость поделиться своими чувствами. Мою жену, когда мы с ней куда-нибудь ездим, ничто на свете не интересует. На уме у нее только одно — детективные романы. В Версале она сидела и читала Эллери Куина. В Париже — Агату Кристи. В Риме — Эрла Стенли Гарднера. Всюду одно и то же. Даже проживи она мафусаилов век, она будет всю жизнь только и делать, что читать детективы.

Это замечание дало Альваресу-Польво повод заговорить о женщинах, и он углубился в этот предмет. Женщины, женщины, женщины! Испанские красавицы — такие чарующие, такие разнообразие! Красавицы Гренады, Малаги, Кастилии, Каталонии! А потом — немки, гречанки, француженки, шведки! Альварес-Польво вцепился Кларенсу в рукав — и говорил, говорил, говорил — бахвалился, жаловался, перечислял, исповедовался. Женщины его погубили — да, да, погубили! Они лишили его денег, здоровья, времени, жизни — все эти женщины — невинные, бездумные, прекрасные, хищные, назойливые, злые — блондинки, брюнетки, шатенки... Кларенсу казалось, что он барахтается среди женских лиц и женских тел.

— Кажется, эта церковь — романского стиля, не так ли? — спросил Кларенс, останавливаясь.

— Разумеется, — ответил Альварес-Польво. — А обратите внимание: рядом — ренессансное здание; оно было специально спроектировано таким образом, чтобы оба здания гармонировали одно с другим.

Кларенс глядел на колонны, на выщербленные лица ухмыляющихся каменных человеко-зверей, на каменных птиц, на каменных апостолов. Мимо прошли двое мужчин, толкая перед собой тачку, на которую был водружен большой пружинный матрас. Они были похожи на царя Сеннаарского и царя Еламского, побежденных Авраамом.

— Пойдемте, выпьем стаканчик вина, — предложил Альварес-Польво. — Мне-то врачи не разрешают пить после операции, но вы должны попробовать нашего вина.

Почему нельзя начать сразу же говорить о стихах Гонзаги? Кларенса грызло нетерпение. Для такого человека, как Альварес-Польво, стихи Гонзаги наверняка не очень-то много значили; однако, какой бы он там ни нес галантный вздор насчет женщин, сколько бы он ни сетовал на то, что будто бы погубил себя, служа любви и красоте, — он, видимо, все-таки был из числа тех людей, которым палец в рот не клади. Сейчас он явно хотел прощупать своего собеседника, хотел выведать, много ли стихи Гонзаги значат для Кларенса и сколько он готов за них выложить. И Кларенс напряженно

смотрел — или шурился — прямо перед собой и старался не сказать чего-нибудь лишнего.

Небольшая **bodega**, в которую они зашли, была уставлена бочками и бутылками, отражавшимися в большом настенном зеркале. Кларенс выпил сладкой желтой малаги.

— А теперь, — сказал Альварес-Польво, — я покажу вам церковь, в которую редко кто заглядывает из туристов.

Они спустились в нижнюю часть города, по бесконечным захлавленным лестницам, мимо домов, напоминающих пещеры, и пустырей, на которых оборванные мальчишки гоняли в футбол.

— Вот! — сказал Альварес-Польво. — Эта стена была построена в десятом веке, а эта — в семнадцатом.

В церковном нефе было темно, прохладно, воздух был густой, словно пропитанный мазями. Темно-красные, темно-синие и ярко-желтые впадины постепенно приняли зримую форму, и Кларенс начал различать алтарь и колонны.

Альварес-Польво молчал. Перед распятым Христом в терновом венке стояли двое мужчин. Раны Христа сочились, все его тело было залито кровью. Терновый венок был слишком большой и тяжелый. У Кларенса появилось такое ощущение, будто шипы вгрызаются в него, скребут ему сердце, вырывают из него жизнь.

— Дело, которое интересует нас обоих... — начал Альварес-Польво.

— Да, да, давайте пойдем куда-нибудь и потолкуем об этом. Стихи были среди бумаг вашего дяди? Они у вас здесь, в Сеговии?

— Стихи? — спросил Альварес-Польво. — Как вы странно их называете.

— Вы имеете в виду, что они — не в стихотворной форме? А в какой? Что это — ритмическая проза? Чем они написаны?

— Чем? Обычным деловым языком. Как положено по закону.

— Не понимаю.

— Я тоже. Но я покажу вам, о чем я говорю. Одна из них — у меня здесь. Я захватил ее с собой.

Он вынул из кармана какой-то документ.

Кларенс, дрожа всем телом, осторожно взял бумагу. Она была очень тяжелая — глянцева, лоснящаяся и тяжелая. Кларенс ощутил на поверхности бумаги рельефный оттиск. Да, это была какая-то печать. Кларенс поискал в соборе место посветлее и прочел на бумаге: "**Compania de Minas, S. A.**"

— Разве это... Этого не может быть! Вы по ошибке дали мне что-то другое! — сердце у Кларенса часто-часто билось. — Это не то...

— Не то?

— Это - что-то вроде акции...

— Это и есть акция. Акция компании по эксплуатации рудника. Разве вы не за этим приехали?

— Господи, конечно, нет! Что это за рудник?

— Уранитовый рудник в Марокко.

— Да для чего мне этот уранит?! — заорал Кларенс.

— Для того же, для чего и всем разумным людям. Чтобы продавать его. Уранит содержит уран. А уран используется в атомных бомбах.

О, великий Боже!

— Да какое мне дело до атомных бомб? Наплевать мне на атомные бомбы! К черту атомные бомбы! — в ярости завопил Кларенс.

— Как я понимаю, вы — финансист...

— Я? Разве я похож на финансиста?

— Конечно, похожи. Правда, по-моему, больше на английского, чем на американского. Но на финансиста. А разве вы не финансист?

— Да конечно же нет. Я приехал разыскивать стихи Гонзаги — стихи, которые были у графини дель Камино. Любовные стихи, которые ей посвятил поэт Мануэль Гонзага.

— Мануэль? Это тот коротышка-солдатик? Тот, который в двадцать восьмом году был любовником графини? Он же погиб в Марокко.

— Да, да! Что ваш дядя сделал с его стихами?

— Ах, так вот вы о чем! Да кто теперь интересуется его стихами? Мой дядя ничего с ними не сделал. О них распорядилась сама графиня. Она завещала похоронить их вместе с собой. Унесла их с собой в могилу.

— В могилу? С собой, вы говорите? И не осталось ни одной копии?

— Сомневаюсь. Мой дядя действовал строго по завещанию, он был очень предан покойной графине. Преданность была у него в крови. Мой дядя...

— А, черт! Черт! И неужели же он не оставил вам среди своих бумаг ничего, что имело бы отношение к Гонзаге? Ни дневников, ни писем, в которых упоминался бы Гонзага? Ничего?

— Только акции горнорудной компании. Это — большая ценность. Не сейчас пока, но они ст а н у т большой ценностью, если мне удастся собрать необходимый капитал для эксплуатации рудника. Но в Испании очень трудно добыть деньги. Испанские бизнесмены — трусы, они невежественны, они не понимают, что такое наука. Хотите, я покажу вам, где находится этот рудник?

Альварес-Польво развернул карту и начал растолковывать Кларенсу топографию Атласских гор.

Но Кларенс пошел прочь — вернее, не пошел, а понесся сломя голову. Скорее, скорее уехать из Сеговии! Как можно скорее! Немедленно! Задыхаясь, отдуваясь, в совершеннейшей ярости он помчался прочь из нижнего города.

* * *

Как только Кларенс вошел в свой номер в сеговийском отеле, он сразу же понял, что его саквояж обыскивали. Он в бешенстве захлопнул саквояж, схватил его и понесся вниз, в холл. Там он набросился на управляющего:

— Почему ваша полиция переворачивает вверх дном мои вещи?

Побледнев, управляющий спокойно ответил:

— Сеньор, зы, наверно, ошиблись.

— Я не ошибся. Что вашей полиции нужно от иностранных туристов?

Управляющий сердито поднялся со стула. На нем был старый, потрепанный костюм и траурная повязка на рукаве.

— Уж эти мне англичане! — сказал он. — Они не понимают, что такое гостеприимство! Приезжают сюда, развлека-

ются и еще ругают нашу страну, клеветают на нашу полицию! Да у вас в Англии куда больше полицейских, чем у нас! Весь мир знает, что у вас в Ливерпуле есть огромная тюрьма, и в нее сажают масонов. Пять тысяч масонов сидят в тюрьме в одном только Ливерпуле.

Кларенс ничего не мог ответить; он стоял с открытым ртом и смотрел. Потом он уплатил по счету и уехал. Всю дорогу до Мадрида он сидел у себя в купе в вагоне второго класса без движения, как потерянный.

Когда поезд вышел из гор, небо словно расколосось, и на землю обрушился ливень — тяжелый и неожиданный, — и вся широкая долина словно закипела.

Кларенс заранее знал, что скажет ему за обедом в пансионе рыжая мисс Уолш.

Перевел с английского Георгий Бен.

Книговарищество ···· "Москва" — ···· "Иерусалим"

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ

"ТРЕПЕТ ЗАБОТ ИУДЕЙСКИХ"

Книга А. Воронеля — известного ученого и одного из руководителей еврейского национального движения в СССР — представляет собой философскую автобиографию, в которой воспоминания о жизненном пути перемежаются размышлениями о сущности и роли науки в современном мире, о природе человека и демократии и прежде всего — о путях и судьбах еврейского и русского народа в их трагическом противостоянии и религиозном противоборстве.

Цена книги — 27 лир (5 долларов), не включая налог на прибавочную стоимость. При заказе — 20 лир (4 доллара). Заказы и чеки на имя автора присылать по адресу: Р. О. В. 23121 Tel-Aviv, Israel.

Наум **КОРЖАВИН**

...УХОДИМ В ТРЕВОЖНОЕ "ПРОЧЬ"

Стихи прошлых лет

Нам портит каждый удачный шаг
Внутренних слов мечь...
Раз говоришь, что пропала душа,
Значит она есть.
Мы оба уходим в тревожное "прочь"!
Путь наш — по небесам.
Никто никому не придет помочь,
Каждый бредет сам.
И нам не надо судьбы иной,
Не изменить ничего,
И то, что у каждого за спиной,
Давит его одного.
И нам, конечно, дружить нельзя.
Каждый из нас таков,
Но мы замечательные друзья —
Каторжники стихов.
Мы можем лишь на расстоянье дружить
Дружбой больших планет,
А если и мы не имеем души —
Тогда ее вовсе нет.



А ты мне письмо
 боишься написать.

Я много мог
 рассказать тебе бы...

Но нынче не время
 словесной патоки.

А все проверяется истинно:
 хлебом,

Кровью,
 угрозой смерти и каторги.

И мало кто выстоит
 перед проверкою,

Не выйдет раздетым,
 разбитым,
 развенчанным...

Страдая,
 мучаясь
 и коверкаясь,

Ищут любви
 хорошие женщины. 1949

* * *

Над нашей любовью не шелестов звуки, —
Тюремных ключей бесконечные стучи.
И взлеты открытий, и горечь падений, —
Надежда и ненависть трех поколений.

Нам близко и дорого каждое имя.
Они теперь мертвы, а были — живыми.
И гибли от нашего — этого — ада.
Дожить нам за них — обязательно надо.

За наше грядущее им соучастье
Они завещали нам редкое счастье:
Уют и простор, чтобы вместе дружили,
Чтоб люди за воздухом к нам приходили. 1954

НА ВЫСОТЕ

Рейхстаг не брал я в штыковом бою.
Но я всю жизнь под пулями стою.
На высоте - вокруг свинцовый дождь.
И ты сюда ко мне не подползешь.

Последний пост. Я не уйду с поста.
Нельзя, чтоб пала эта высота.
Пока она стоит, пока я тут —
В трех измереньях все еще живут.

Все длится... А падет она едва.
Поверят все, что их всего лишь два.
И станут ниже срезанной травы,
И не поднимут больше головы.

И ты пойми. Поверь в судьбу мою —
Я для тебя под пулями стою.
Ползи сюда. Ко мне. И здесь живи,
А там, в низинах, больше нет любви.

г. Таруса, 14 июня, 1960



Марина ГЛАЗОВА

ЗНАК ОДИНОЧЕСТВА

Когда часы окутываются разговорами
и листья догоняют ветер,
в лучах дождя, полосками чертя,
знак одиночества извечного отмечен.

Работа скульптора приблизилась к концу.
Твои черты — в искусстве первобытном.
И хлещет дождь по мокрому лицу.
И ветку треплет ветер ненасытный.

Как падающий мелкий дождь
уходит серый день,
набрасывая сетку на прохожих,
в другой, такой же, неизвестный всем,
но для тебя — до ужаса похожий.

Ты в сетке с ними, в неизвестном дне.
В серебряных ночных лучах
тебя найду я.
В твоих до странности простых словах.
Я мокрое твоё лицо целую.

*В страшную больничную ночь
30 октября 1968 года.*

* * *

**Зиночке и Грише и
тому Большому Лесу.**

Несчастье есть несчастье есть несчастье.
Брожу в лесу английской королевы
и, не сходя с тропы, могу поклясться,
что узнаю тебя — мой лес и ели.

Несчастье есть несчастье есть несчастье.
Мой берег и вода, что солью стала!
Горит, горит руки моей запястье!
Я сохнуть по тебе не перестала.

Несчастье есть несчастье есть несчастье.
И вновь и вновь осенний лес кружится.
Чем держишь ты? Молчишь — какую властью?
Багряным золотом? Тоской с тропинки сбиться?

Ты падаешь так медленно, так тихо.
Лихвы-отваги нет в твоём паденье.
Боишься, как бы кто ни захихикал?
И небеса — в глазах твоих — круженьем.

Какой спиралью он нисходит наземь?
Возможно, знает тот, кто смотрит сверху.
И если сам сошел, то не увязну
и буду ждать, что он протянет ветку.

Несчастье есть несчастье есть несчастье.
Стучится дождь ритмично по карнизу.
Снаружи и внутри одно несчастье.
Что можно увидеть при этом снизу?

сентябрь 75

* * *

Я еду на косу Кейл Код
и оставляю огород,
который спсиху завела
и вовремя не полила.

С тоской гляжу на небосвод.
Решаю звездный в нем кроссворд.
Какого там еще вина
добавила в мой ковш луна?

Имея рыбок в феврале
и две-три мысли на уме,
сiju как дура за рулем,
себя не чувствуя при нем.

Пойду я лучше пешим ходом,
не занимаясь огородом.

февраль 76

Не летают облака.
Не плывут. Не убегают.
И не тают. И не тают.

И поникшее лицо
направленье не меняет.

И снежинка на ходу
превращается в слезу.
И стекает. И стекает.

Шлет на землю свет звезда.
С ней участвует луна.
Освещает. Освещает.

И заветное кольцо
обладателя теряет.

Ветерок проносит весть,
что разлука может съесть.
Пробегают. Пробегают.

Голос шепчет над водой —
— Не ходи туда. Постой.
Не пускает. Не пускает.

Горе на сердце слагает.
И слагает. И слагает.



Из новых стихов

Владимир НАУМОВ

СОТВОРЕНИЕ МИРА

Все время смотрит мальчик на часы,
Ведь лишь вчера подарены часы,
Сверкающие холодно и звонко.
Ах, что за чудо-радость для ребенка
Округлые щелкунчики-часы.

И время начиналось по часам.
Шло по минутам Сотворенье мира,
И ходиков затравленные гири
Размеренно ползли то вверх, то вниз
Во славу недостроенного мира.

И не по дням расти, а по часам,
И днище бочки выбить в одночасье,
И ощутить ко времени причастность,
Хоть не всегда мы верим в чудеса,
Усматривая в сем огнеопасность.

СОТВОРЕНИЕ МИРА

107

Так четко-чутко слушают часы
Частичность перемен и переделок,
И делу — час, час праздника, час белый,
И тяжесть колеса колдуньи — белки
Ложилась на хрусталики росы.

И был шестый, наиглавнейший, день.
Все не хватало времени на что-то,
И ангелы совсем сбивались с ног.
Шесть дней ушло на планы и работу,
А в день седьмой ушел на отдых Бог.

С тех пор текут часы, часы, часы...
Летят речитативом часослова
И каждый час готов опять начаться.
Есть Час Быка, Час Времени, Час Слова,
И смотрят беспрестанно на часы
Канатоходцы и новообрядцы.

* * *

Разбежались минуты, часы и века,
В свои кельи забились дни, месяцы, годы...
Бормотала слеза на щеке старика:
"Я желаю вам всем самой лучшей погоды".

В понедельник он умер. Во вторник пришли
Выносить потемневшие пыльные вещи,
А на всех континентах планеты Земли
Страшным криком кричала и плакала вечность.

В церкви свадьбу справляли. В четыре часа.
Новобрачных дарили шумливые гости.
В километре оттуда цвели голоса
Одиноко и зябко на ветхом погосте.

День как день: был печален и радостно-свеж.
 День как день: люди плакали, люди смеялись.
 И какие-то дети поднимали мятеж
 И сжимались ладони на натянутом одеяле.

* * *

"Стихов! Стихов!" — толпа кричала
 И надвигалась на дворец.
 А дело было в декабре:
 Год склеивал конец с началом,
 В снежки играли на дворе.

Шли легионы на дворец —
 На храм Поэзии и прозы.
 И воздух был лениво-розов.
 Поэт кичился на горе
 И принимал сплошные позы:

Вот поза раз, вот поза два,
 Есть поза три, затем четыре...
 Поэт вещал о скуке в мире,
 Откидывалась голова
 И лопнула струна на лире.

"Стихов! Стихов!" А там, внизу,
 Непокоренные мальчишки
 В снежки играют. Им не книжки,
 Им бурю надо, и грозу,
 И горечь твердой кочерыжки!

"Стихов! Стихов!" — вопила голь.
 Мальчишек же не замечала.
 "Стихов! Стихов!" И все им мало.
 И был бесстыдно гол король
 (Был гол он с самого начала).

"Как гол он!", "Это ль не стихи?!",
 "Быть может, в наготе есть сила",
 "Ты помнишь, сказка говорила...",
 Но прокричали петухи
 И леших враз угомонила
 Дробь барабанная снежков.

февраль 1976

Несколько лет тому назад я начала писать книгу о Чехове. Когда дописывались последние страницы, мой дом стоял разоренный, обнаженно бедный, растерянный, чемоданы были упакованы, и для каких-то, первой необходимости вещей не находилось места.

Книга о Чехове прошла со мной весь путь исхода, неизнаваемо меняясь от года к году, от главы к главе. "В мире новом" ее последние строки не узнавали первых...

Я начинала книгу, движимая не литературоведческим любопытством, для которого Чехов всегда желанен и практически неиссякаем. Нет, то был мой филологический роман, итог "ума холодных наблюдений и сердца горестных замет". Иными словами, импульс книги, ее непростившийся в текст "подтекст"-размышления над характером моих современников, странно близких, по тогдашним моим ощущениям, чеховскому персонажу с его духовной взвинченностью, готовностью к скандалам, поисками идеалов и неизбывной пародийностью быта, склада, жизненной позы и позиции. И случилось так, что "жизнь с Чеховым", постоянное присутствие Чехова ускорило мое прощание с Россией. То, как мне дано было понять Россию, явленную чеховским словом, — обширное, бесконечное, но замкнутое пространство; бесконечная повторяемость, создающая иллюзию времени и страшно неподвижная в сути своей, — привело к новому чувству и знанию истории, и страны, и себя, и своего поколения.

Оказалось, что книга не дописана: надежды моего поколения, его стремления, сама тяжкая плоть, ткань его жизни, исторический слом, который прошелся по его телу, время, отпечатавшееся, застывшее, дремлющее в нас, требует слова. Наше время чуждо хронологии: оно отмеряется катастрофами, тектоническими сдвигами сознания.

Смерть Сталина — это рождение моего поколения, русские 50-е годы — место его рождения.

Я хочу "размотать" время, как разматывают клубок спутанной пряжи, я хочу еще раз пережить и осмыслить нашу прошлую, прошедшую, законченную жизнь. Это есть тема моих "Эссе о времени". Первое из них публикуется ниже.

Майя Каганская

Майя КАГАНСКАЯ

"Эта штука сильнее "Фауста" Гете: любовь* побеждает смерть".

(Надпись Сталина на поэме Горького "Девушка и смерть")



"ЛЮБОВЬ ПОБЕЖДАЕТ СМЕРТЬ" или ПЯТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

Что такое пятидесятые годы, в которые ушла моя юность, и все уже было предреждено, взвешено и оплачено, все "плюсы" и "минусы" проставлены, как долги в записной книжке аккуратного человека?

Они начались в XIX веке, на рубеже "хмурых" восьмидесятых и девяностых, так и оставшихся без эпитета годов.

Однажды мальчика, кухаркиного сына, пригласили в господский дом из побуждений филантропических и либеральных. Старший сын хозяев закончил гимназию или вернулся домой из университетского города на летние вакации.

И по этому случаю в доме устроили бал. Бал открылся мазуркой. В первой паре шел хозяйский сын с какой-нибудь своей кузиной семнадцати лет и в белом платье. Кухаркин сын влюбился в кузину с первого взгляда. Он стоял в дверях зала, и ему все очень нравилось: и люди, и как они одеты, и как танцуют, и как пахнет в доме.

Ничего такого он раньше не видел, и все казалось ему сказкой, или, как тогда выражались, "волшебной грезой".

* Это не опечатка — так у Сталина.

А над кухаркиным сыном изогнулся подобострастно один из молодых гостей дома. Разговаривая с кухаркиным сыном, он ни на минуту не забывал о своей исторической вине перед ним. Он уговаривал кухаркиного сына бросить духовную семинарию и заняться естественными науками. Потому что только естественные науки принесут народу избавление от вековых предрассудков, а впоследствии, может быть, и счастье.

На что кухаркин сын, наверно, ответил, что господа могут позволить себе баловаться естественными науками, у них и на земле царство небесное. А у народа, кроме Бога, ничего нет.

Но вообще-то с навязчивым своим доброжелателем кухаркин сын говорил рассеянно, ибо тот отвлекал его от сладостного созерцания барышни в белом платье, и затейливых узоров мазурки, и душу сотрясающей дробной переключки мужских и женских каблуков, от бархатных портьер на окнах и такой же обивки на мебели, от всех этих изящных благопристойных людей, о которых и помыслить было невозможно, что они, как все другие, обыкновенные, грубые люди, ругаются со своими женами и зачинают детей в душных постелях.

Кухаркин сын уходил из господского дома с таким чувством, будто он сподобился побывать в раю.

В раю господа офицеры, господа студенты и господа гимназисты танцуют с барышнями мазурку, в перерывах между танцами целуют барышням ручки и разговаривают по-французски.

В раю много бархата, а из соседней комнаты доносятся звуки скрипки и фортепьяно.

Рай неизменен, абсолютен, вечен. Он не зависит ни от времени, ни от пространства, ни от истории, ни от журналов мод.

И что бы потом ни случилось с кухаркиным сыном, какие бы испытания ни выпадали на долю его, он никогда не изменял своему райскому видению, своей любви к гимназистке в белом платье.

Гамлетовская раздвоенность, донжуанская влюбчивость, фаустовские метания были одинаково чужды ему, отвратительны.

Он был человек цельный, он был — однолюб. И его любовь победила смерть.

Любовь к гимназистке, танцующей мазурку, победила смерть под пытками без суда и следствия, смерть, одинокую, как ночной грех, сладкую утеху палачей в ритме и стиле довоенных танго и фоксов.

Смерть-"Рамону": помните, как в ночь ареста Мандельштама за стенкой у Кирсанова бесконечно крутили "Рамону"?

Смерть-"Челиту": "Для нашей Челиты все двери открыты"... Эту "ай-я-яй что за девчонку" пронесла Клавдия Шульженко через войну, через оскаленную кровавым криком смерть обреченных армий на обреченных фронтах.

Из послевоенных подворотен, щелей, развалин, развороченных и разоренных коммунальных гнезд все еще тянуло "Рамоной", и "Челитой", и "Брызгами шампанского", и курортной импортной грустью Утесова: "Скажите, почему нас с вами разлучили? Зачем навек ушли вы от меня?" Но уже истекло время мещанских шлягеров предвоенной Европы: они истерзали бы благородный слух дворянского собрания девяностых годов века девятнадцатого. Близилось второе пришествие гимназистки — близились пятидесятые годы.

И наконец все помехи устранены.

Кто должен был умереть — умер. Кому суждено было стать побежденным — был побежден. Что должно было быть разрушено — было разрушено. Из морока, пепла и крови вставало райское видение. А чтобы оно, не дай Бог, не ускользнуло, его воплощали в мрамор, гранит, бронзу и — нас.

Мы, девочки пятидесятых годов, надеваем черные, а по воскресным и праздничным дням — белые фартучки.

Мы — залог бессмертия гимназистки на провинциальном дворянском балу, доказательство силы и верности любви кухаркиного сына.

Наши мальчики созревают вдали от нас, чтобы не смущать до времени нашего целомудрия, не сорвать раньше положенного розу нашей невинности.

На школьные вечера к нам приглашают господ суворовцев.

Рай неизменен, абсолютен, вечен. Он не зависит ни от времени, ни от пространства, ни от истории, ни от журналов мод.

Поэтому на школьных балах мы танцуем мазурку, чардаш, полонез, кадрили, па-де-грас, па-д'эспань, па-де-патинер, венгерку, вальс венский, вальс фигурный и какой-то, до сих пор загадочный, вальс-миньон.

И на этих-то балах цветут нежным стародевьим румянцем, молодеют на глазах наши зажившиеся, чудом уцелевшие преподавательницы иностранных языков и русской литературы, выпускницы благородных пансионов, Бестужевских курсов и классических гимназий, дочери коммерческих советников, чиновников из "присутствия", незадачливые чада в бозе почивших сельских батюшек и хлопотливых матушек, вечные невесты мечтательных корнетов, гордых поручиков и "мыслящих" вольноопределяющихся, чьи белые хрупкие косточки давным-давно истлели в Мазурских ли болотах, в Карпатах ли, а то, может, намного ближе, да и намного страшней: в дворах ли, в подвалах городских, окружных, районных "чрезвычай"...

И только десятилетия спустя с сухостью в горле и резью в глазах понимаешь, о какую стенку разбивались кисейно-ситцевые воспоминания Нины Ниловны, почему, вздыхая, отводила взгляд от комсомольского значка Марья Ивановна — "Маруся с бантиками", — нежно поправлявшая белый воротник моего форменного платья — ходила я у нее в любимицах за начитанность.

А другой своей любимице, Людочке, отличнице и музыкантше, подарила она старый пожелтевший нотный альбом. И вот уже на классном празднике в честь октябрьского дня рождения (или Красной Армии, или Парижской Коммуны) играет Людочка при всеобщих наших страстных восторгах "Молитву девы" и композитора Присовского вальс "Гимназистка": Киев, издательство Сытина, 1912 год.

На больших переменах Нина Ниловна (Сорбонна, год 1913... "Ах, деточка, вы произносите "je", как пуассардка на парижском рынке!") обучает нас тонкому искусству реверанса и первого свидания.

"Маруся с бантиками" объявила: "Если будете хорошо отвечать образ Павки Корчагина, я почитаю вам Чарскую".

Класс ликует. В несколько уроков проходим "Княжну Джаваху" и "Жизнь Люси".

... От уроков естествознания пышет кромешным детством, гриппозным бредом, аспириновым ужасом: шушера болотная, нечисть лесная, вейсманисты-морганисты с мушками-дрозофилами и жабыми бородавками стерегут яйцо Кашея-Вирхова-Бессмертного, но разбил их наголову передовой отряд румяных Иван-мичуринцев, разбежалась, расползлась от нестерпимого света истины зарубежная погань, хрякнулось яйцо, — и вытекла из него, растеклась яичницей на все мироздание вечная бесструктурная материя. И нет больше Вирхова-Кашея со лакеи и со припешники. Был, да весь вышел. Тьфу!..

До этих ли химерных рассказней, когда дрожит сейчас под нашими нетерпеливыми пальцами жизнь подлинная, жизнь взрослая: признает или не признает старый английский лорд своего внука, рожденного от мезальянского брака его сына и гувернантки-американки, законным наследником?

Ходит по притихшему классу от первой парты до последней, разъятый на листики-листочки "Маленький лорд Фаунтлерой" с золотыми локонами и в черных бархатных штанишках, с ятями и ерами, в тисненном переплете.

... Летом 1953 года я приехала в Москву. Первым делом посоветовали мне посетить Третьяковскую галерею, музей подарков Сталину и новое здание университета на Ленинских горах.

В Третьяковке мне понравились две картины: "Утро стрелецкой казни" и "Утро нашей родины".

Про музей подарков Сталину ходили тогда по Москве слухи, будто там выставлены вещи, реквизируемые из дворянских особняков в начале революции. Тридцать

лет они пролежали в подвалах и начали портиться. Не пропадать же добру! Их и "выставили", "подарили": победи-телю-ученику от побежденного учителя.

По ночам Сталин приходил в музей.

Он любовно поглаживал потускневшую парчу на креслах в стиле Людовика XV, снимал пыль с позолоченных канделябров и амуров, трепетно открывал шредеровские, красного дерева, пианино: сыграть бы сейчас, в ночной тишине, какой-нибудь *vaise triste*, да жаль, музыке не обучен: кухаркин сын.

Навстречу ему, как тихие вечерние солнца, мягко зажигались настольные лампы — пышные тропические абажуры, венчавшие гибкие бронзовые тела наяд и дриад, выхватывали из заоконной тьмы теплые круги милого домашнего уюта: дорогие издания классиков с золотым обрезом, стада фарфоровых слоников, вязаные салфеточки и белые женские руки, разливающие душистый чай. Теперь и отдохнуть можно: храмы на крови — они самые прочные.

Из комнаты в комнату, то возникая в глубине венецианских зеркал, то пропадая в тяжелых складках бархатных портьер, следовала за ним она, его бессмертная возлюбленная, русская уездная барышня, гимназисточка 1890 года издания.

Генералиссимус смахивал с глаз непрошеную слезу: к старости он стал сентиментальным. Воспоминания — лучшие сны жизни.

Старинные часы нежно вызванивают менюэт Боккери-ни. (Из ремарки к первому действию пьесы Булгакова "Дни Турбиных".)

Установлено: "Дни Турбиных" на сцене МХАТа смотрел Сталин не менее 20 раз.

Отвечайте, историки и аналитики, советологи и крем-леведы: что 20 раз тянуло угрюмую, натруженную душу вождя и генсека в малиновый сумрак мхатовской ложи? Что 20 раз приковывало к сцене его орлиный взор? Какие чувства 20 раз волновали его суконное, защитного солдатского цвета и покроя, сердце?

Почему Сталин к Турбиным, классовым врагам своим, прикипел? Или победивший и победоносный, наслаждался он даровым чудом искусства — остановленным временем, позволяющим снова и снова радоваться на врага поверженного, смятенного, заглянуть в суть его, душу и увидеть там неуверенность, колебания и страх?

Но чудится мне, что после первого действия Сталин — всегда уходил. Ни своя победа, ни их поражение его не занимали. То было прошлое, а он весь был — в будущем. Дни Турбиных ушли в прошлое, дом Турбиных принадлежал будущему. Потому что он любил дом врагов своих. Потому что в этом доме выращивают, холят, берегут для него, чело-века цельного, победителя и однолюба, тоненькую пышно-волосую гимназистку. В этом доме много бархата, из соседней комнаты доносятся звуки скрипки и фортепиано, в этом доме целуют женщинам руки и разговаривают по-французски. Он любит дом врагов своих, как мальчик, кухаркин сын, навсегда полюбил мазурку в дворянской гостиной и гимназистку в белом платье. Он, Сталин, призван был этот дом спасти. И сохранить. И населить его снова. Потому что только в этом доме он был и будет счастлив.

И в театр он ходил не на "Дни Турбиных", а на — дом Турбиных. Как ходят в дом моделей: прикинуть, запомнить, примерить.

И погоны 1944 года, и прочный, иерархичный интерьер 50-х годов с этикетом и ритуалом — все было задумано тогда, в малиновом сумраке мхатовской ложи.

То был творческий замысел, равный откровению: он понял, как воплотить переполнявшее его чувство, свой положительный идеал, как явит изумленному миру, привыкшему к его разрушительной ненависти, свою созидающую любовь. Разве не связано творчество — с детством?

Отсюда и благодарность МХАТу, и постоянная к нему благосклонность, и всегдашнее ему покровительство: как к "поставщику двора его императорского величества", ювелиру и чеканщику верных деталей и сочных подробностей, церемониймейстеру и квартирмейстеру, сорежиссе-

ру и соавтору грандиозной инсценировки под названием "Пятидесятые годы".

...По Московскому университету, что на Ленинских горах, помню, бегала я, как затравленная, в полном безумии, с этажа на этаж. Искала я туалет — и не находила. Спросить же у кого-нибудь, по юной своей неопытности и провинциальной невоспитанности, не решалась. А когда наконец спросила, оказалось, что я нахожусь рядом с одним из их бесчисленного множества. Просто все туалеты были целомудрено задрапированы огромными портьерами из красного плюша с бомбонами.

Могла ли я предположить, что эта роскошь скрывает вход в сортир?

...Мои пятидесятые годы кончились не в марте — со смертью Сталина, — а в мае, когда в Киев на гастроли приехал Александр Вертинский.

Был обычный жирный киевский май. Как всегда, тугие сливочные трубочки цветущих каштанов уподобили город гигантской кондитерской. Ленивые гусеницы копошились в листве, до отвалу накормленной хлорофиллом. Листва лоснилась, лоснились лица прохожих, лоснилась черная крышка рояля на филармонической эстраде.

Но в зале была другая, незнакомая мне атмосфера. В зале пахло иначе, не так, как еще совсем недавно пахла здесь увертюра Чайковского "1812 год" в сводном исполнении симфонического оркестра Киевской государственной филармонии (дирижер: Натан Рахлин) и духового оркестра Киевского военного округа.

Медным казарменным солнцем блестят трубы, подблескивают им в рифму погоны, вплетаются в этот светоносный хор лучики перламутровых биноклей из первых рядов — непременно, вкупе с чернобуркой, деталь туалета генеральских, полковничьих, майорских жен.

Летают фрачные фалды, летает пухлая еврейская ручка, вооруженная дирижерской палочкой, как жезлом полководца, извлекая перуны русской имперской мощи из разинутых трубных глоток: "Эх, взвейтесь, соколы, орлами!"

И вот уже "Славься, славься, наш русский царь!" начинается по пятам преследовать "Марсельезу", вольтерьянку и вольнодумку, валит, топчет, кромсает ее, непотребную западную девку, соловьем-пташкой-разбойником разливается по улицам и площадям европейских столиц и, наигравшись досыта, затихает, убаюканный сладким перезвоном московских малиновых колоколов.

Отрепетированный гром аплодисментов волнообразно распространяет по филармоническому залу дорогой запах духов "Красная Москва" — устойчивый, парадный, официальный запах пятидесятых годов, запах увертюры Чайковского и "Богатырской симфонии" Бородина, и "изумительной, нечеловеческой"* музыки Бетховена — был он тогда в сильной моде!

Огонь, высекаемый из наших душ** медными трубами, сопровождался потоками дистиллированной воды: рондо-каприччиозо Сен-Санса, "Полонез" Огинского, вальс Хачатуряна из музыки к драме Лермонтова "Маскарад", и вообще — вальс, всякий, любой: Глинки ("Фантазия"), Штрауса (все), Глазунова ("Концертный"), Чайковского ("Сентиментальный"), "Колхозный вальс", "Шахтерский вальс", "Киевский вальс", вальс, вальс, вальс...

Назло Меттерниху, в посрамление злокозненному канцлеру, запрещавшему в начале "сурового" и "железного" XIX века вальс специальным указом, вальсируют пятидесятые годы.

"Вечер вальса состоится в нашем клубе заводском...".

И что такое слышалось и слушалось в портвейно-приторной музыке Сен-Санса? Или то сублимированная тоска по джазовым синкопам заставляла сжиматься сердца в упоительном предчувствии ритма, бьющего по струнам, как по заголившимся нервам?

*Так, по Горькому, отозвался Ленин на бетховенскую "Appassionату" в исполнении Исая Добровейна.

** Цитата из Бетховена, без которой не обходились бетховенские лекции-концерты 50-х годов: "Музыка должна высекать огонь из мужественной души".

Неведомо.

В 1920 году, по свидетельству современников-очевидцев, из всех кабачков и ресторанов врангелевского Крыма доносился "Полонез" Огинского: "Белая гвардия, путь твой высок: синее небо, белый висок".

Почему страну победившего пролетариата вдруг захлестнула эмигрантская ностальгия "Полонеза", этого польского "танго смерти" XIX века?

Непонятно.

Но с утра до вечера, из всех репродукторов, по заявкам стахановцев и передовиков сельского хозяйства, академиков и домохозяйек, участников войны и пионерских слетов, в концертных залах и под открытым небом прощается с родиной и жизнью навсегда, навечно, на веки веков пан поручик Огинский:

Там-та-ра-ра-ра-там-та-ра-ра...

Серое рубище страны из конца в конец, вдоль и поперек, прошито бархатной тесьмой дворянских обносков,

У поколения украден его естественный ритм: за джаз сажают, за фокстрот ссылают. "Полонез" Огинского становится модерном 50-х годов советской империи.

"В городском саду играет духовой оркестр, на скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест...".

Нет свободных мест и сейчас, здесь, на концерте Вертинского. Но места заняты не теми, кого привыкла видеть в городском саду, на лекциях-концертах, вечерах фортепианных дуэтов или художественного чтения.

О незабвенные чтецы-декламаторы пятидесятих годов, гальванизированные трупы классиков, чьи хорошо поставленные, заботливо ухоженные голоса связали "век нынешний" и "век минувший" в одно дремотно-праздничное целое, концертно-плюшевое единство с неизменным набором авторов-исполнителей и читателей-зрителей.

Михаил Царев (Пушкин), Эммануил Каминка (Мопассан), Всеволод Аксенов (Ибсен — "Пер Гюнт").

Каминка-Мопассан: щепотка возбуждающих пряностей, подброшенная в чересчур сдобренное содой, осевшее и пресноватое тесто времени. Замочная скважина в эротику, от-

верженную сталинским викторианством. Боязливое при- тапывание у дверей в спальню и, стало быть, косвенное подтверждение того, что спальня и впрямь существует.

А была спальня в пятидесятилетие так же нежелательна и неприлична, как сортир: возвращенные в рай, отлученные от греха истории не должны чувствовать тяжкое бремя плоти.

Тайна зачатия устранена, ибо устранена тайна смерти. "Любовь побеждает смерть". Ведь это любовь бесконечная, без мягкого знака. Любовь — ошибка, любовь — опечатка, любовь — описка, безграмотная "любовь" кухаркиного сына к господскому раю.

Пятидесятилетие обладает рецептом бессмертия: оно добывается не преодолением смерти, а преодолением жизни. Стрелка отмеряет не часы, а десятилетия — в обратном направлении.

И до сих пор первой жертвой декоративных ухищрений, предпринимаемых к советским праздникам, падают в Киеве вокзальные часы, закрытые и перекрытые портретом вождя (Ленина).

Сквозь неплотно пригнанный, колеблемый ветром холст, сквозь гигантски увеличенное, уже нечеловеческое лицо упрямо просвечивают, проступают часовые стрелки: время, живая тварь, неугомонная плоть бытия, задыхается и рвется наружу, на волю, как полузадушенная, но еще дышащая жертва силится сбросить подушку, прижатую к ее лицу убийцей.

Внятен, громок, кричащ этот символ остановленного, убиенного, казненного времени!

Аксенов-Пер Гюнт на современников своих — пятидесятилетие обрушивал один из самых остро-актуальных, животрепещущих вопросов интеллигенции 80-х годов XIX века: "быть самим собой" или "быть самим собой довольным"?

Кабинетная психологическая проблема, аранжированная бидермайеровской мебелью, догорающим камином, газовыми светильниками, шляпками с вуалью и платьями с трендом, воспринималась нами как последняя экстренная новость с поля европейской интеллектуальной битвы.

Жившие со своими западными сверстниками в одном пространстве, мы во времени приходились им дедушками и бабушками. И слыхом не слыхавшие о Камю, Сартре, даже Хемингуэе, мы тосковали, как три сестры, и тряслись от страха, как Беликов.

Но кто царил надо всем, кто не позволял "спальне" и "кабинету" столкнуться в иссушающем конфликте духа и плоти, кто даровал гармонию, всех примирял, всех — утешал?

Конечно же тот, кто выше времени, вне всякого времени, потому что впереди любого. Конечно же — Пушкин!

"И бл-ле-еск, и шум, и говор бал-л-лов, а в час пирушки хол-л-лостой шипенье пенистых бокал-л-лов и пунша пл-л-ламень голубой!"

И как естественно, как органично и плавно переходило у Царева это вальсирующее, интимное, шампанское "л" в артиллерийские салютные раскаты имперски рыкающего "р": "Кр-р-р-расуйся, гр-р-рад Петр-ров, и стой неколебимо, как Р-р-р-оссия..."

И от "л" до "р", от "я" до "мы", от основания волны до ее гребня вздымались благодарные, переполненные сердца сидевших в зале господ офицеров — с погонами, господ юристов — с погончиками, господ инженеров — с петличками, господ железнодорожников — с ромбиками.

"Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид".

Было все это, было, еще вчера, недавно, только что... Каким ветром сдуло, каким потоком унесло?

Боже, из каких коммунальных подполий извлеклись эти пожелтевшие рюшики, жабо, кружевные оборки, эти, слегка подвитые, до бровей, невозможной элегантности седоватые челки, медальоны и броши-камели, эти длинные, до локтя, перчатки и галстуки-бабочки, прикорнувшие на подкрахмаленных и подзапавших мужских торсах?

Настроение в зале — пасхальное: "Воскрес? — Воскрес! Воистину воскрес!"

Никого не знаю или никого не узнаю. И только запах, едва уловимый, но памятный с детства и, как детство, горьковатый и печальный, роднит и сближает меня со всеми.

То запах нафталина, подмешавшийся к прочно въевшемуся в тело времени запаху "Красной Москвы", наполняет меня томительным ожиданием незнакомо-знакомого, чуждородного, таинственно-известного. Так первое объяснение в любви поражает слух, но не душу, воспитанную в любовном знании. Так явь повторяет сновидение.

Акомпаниатор Александр Брехес, томный и пышный, предвзято появляясь, двумя тонкими музыкальными мазками рисует портрет его души: "Осенняя песня" (Чайковский) и "Полишинель" (Рахманинов).

Влача за собой невидимые, но тяжкие шлейфы лирики и иронии, шагом развинченным и упругим, выходит из-за потусторонних кулис Александр Вертинский — весь в белом, как и подобает призраку, на вечер вынырнувшему из тьмы небытия.

Уже настолько нерушимо царство гимназистки, так неколебима плюшевая империя, воздвигнутая силой любви кухаркиного сына, что и побаловать возлюбленную можно, подарить ей подержанную, молью траченную, но все еще нарядную эмигрантскую тоску.

Зал встречает его стоном. Его безголосье оглушает больше, чем трубы духовых оркестров. Сухое скелетное пощелкивание его пальцев возвращает жизнь угасшим мирам, закатившимся вселенным: "Принесла залетная молва милые ненужные слова: Летний сад, Фонтанка и Нева... Здесь живут чужие господа, и чужая плещется вода, и чужая светится звезда, и мы для них чужие — навсегда!.."

Вот оно, главное. Наконец-то сказано: "мы" и "они", и "мы" для "них" — "чужие навсегда", и звезда чужая, и небо, и земля... Кто "мы" и кто "они" — неясно, но понятно: мир разделен, и отныне мне предстоит жить только в таком, разделенном на "мы" и "они" мире.

"Надо жить, не надо вспоминать, чтобы больно не было опять и чтобы сердцу больше — не рыдать".

Нет, нет, надо вспоминать, скорее жить — необязательно, а если сердце не рыдает — какой в нем толк, зачем оно?

"Что за воздух в степи молдаванской, как поет под ногами земля! Хорошо мне с душо-о-ю цыганской ко-че-вать-ни-ко-го-не-лю-бя!.."

Да, да, именно так надо: "ни-ко-го-не-лю-бя!" Хочется любить, а ты не люби, не люби, пусть душа станет — как степь молдаванская, выжженная, чистая, просторная; чтобы кочевать было где.

А что кочевать придется, это я сразу, в одну минуту, в один ослепительный миг, на всю свою грядущую жизнь понимаю и принимаю.

"... И две ласточки, как гимназистки, провожают меня на концерт".

"Над розовым морем вставала луна во льду зеленела бутылка вина за ту божественную страсть что в нас обоих пела лиловый негр вам подавал манто я знаю даже кораблям необходима пристань но не таким как мы не нам бродягам и артистам и стоит покосясь у дороги деревянный распятый Христос я люблю ваше нежное имя я влюблен в вашу тонкую бровь Мадам уже падают листья и небо в закатном огне когда же вы скажете слово когда вы придете ко мне?"

Мадам! — и жалкий вискоз моего платица вдруг наливается шелком, и это бедное нескладное тело с таким множеством рук и ног, эта избыточная плоть, рвущаяся сквозь коричневую форму и рвущая ее, моя обуза, мамино горе и непереносимый соблазн для учителя истории, единственного мужчины в нашем школьном монастыре, вся эта груда гревовой глины лепится, шлифуется розовым морем, зеленой бутылкой и лиловым негром, мне подающим манто.

Тайна, живая драгоценность, от одного слова которой зависит мужская жизнь, я сейчас рождаюсь из себя, как бабочка из гусеницы, и отсылаю свое прошлое гусеничное тело туда, в опостылевший мир, в опостылевший дом, а сама... "И люди там застенчивы и мудры, и небо там, как синее стекло, и мне, уставшему от лжи и пудры, мне было б с ними так легко". — "Палестинское танго".

Мы вскакиваем, мы неистовствуем, плачем, и незнакомая женщина, соседка справа (безусловно "мы") кричит вне

себя, во весь, в кои-то веки обретенный свой голос: "Желтый ангел"! Вертинский! Спойте "Желтый ангел!" Я тоже прошу, умоляю, заклинаю: "Желтый ангел"! "Желтый ангел"!

И тогда другая женщина, соседка слева ("чужая навсегда"), поворачивается к нам гневно:

— Перестаньте! Как вам не стыдно! Ведь мы все-таки советские люди!

О, как неполно, оказывается, мое превращение, как еще легко испугать меня, загнать обратно, как сразу хочется свернуться, спрятаться, уползти куда-нибудь от этого металлического голоса и обвиняющего, властительного взгляда, как хочется опять стать неотличимой от "них", с гусеничным коричневым телом, плоским и шероховатым!

Как ненавижу я ее выщипанные брови и карминные губы, ее перекись-водородные волосы, уложенные валиком, весь ее облик Евы Браун, Марики Рокк и Людмилы Целиковской!

Уцелевшая часть моего сознания судорожно хватается за какую-то пробоину в ее металле. Что-то уязвленно-отступившее, дезертирское было в ее словах... — да, вот оно: "мы все - так и советские люди..." Не просто "советские", а — "все-таки советские". Трещинка, надлом, признание неполноты, ущербности — "все-таки".

И прямо по трещинке, по пробоинке этой приходится ответ моей союзницы, соседки справа:

— Зачем же вы сюда пришли?

И — чудо: умолкает врагиня. А я отчетливо, окончательно понимаю: Все. Умер. Сдох. Нет Его и никогда больше не будет. "На башне бьют куранты, уходят музыканты..." "Желтый ангел" прилетел...

Кончились пятидесятые годы, устарели, как выщипанные брови и прическа "валиком". Износились, выцвели, как моя гимназическая форма. Отгремели — как увертюра Чайковского "1812 год". Улетучились, как запахи духов "Красная Москва" — из филармонического зала.

Долой помесь Корчагина с Чарской, комиссарской куртки с реверансом! Пьянящим воздухом конца века — кануна катастрофы — повеяло на нас...

А никакой катастрофы не произошло.

Вертинский — эпитафия к 60-м годам: желанное, обещанное нам будущее опять оказалось поношенным прошлым. Только на этот раз не московским, а петербургским, не чеховским, а блоковским да ахматовским.

Свежее, как майская зелень, новенькое, как только что изданная книжка, притаившись в уличной тьме, ждало нас за порогом наше будущее — ждал нас Петербург 1913 года.

И мы прожили там одну хмельную жизнь, один хмельной день и уснули на его исходе. А когда проснулись — за окнами уже стояли хмурые сумерки восьмидесятых-пятидесятых.



Элиезер БРУЦКУС

СЖИГАТЬ ЛИ МОСТЫ?

Заметки о судьбе русской культуры в Израиле

Оглядываясь назад, невольно задаешь себе вопрос: как и из кого формировались основные пласты израильского общества?

Билуйцы — выходцы из Харькова, и значительная часть первой алии была российского происхождения. Вторая алия представляла собой прямое ответвление русско-еврейского рабочего и революционного движения, выбросившего на берег Палестины после поражения революции 1905 года некоторых своих типичных представителей.

Отплывший в Палестину в разгар гражданской войны на Украине пароход "Руслан", на борту которого находился цвет старого русского сионизма и нового халуцианского движения, "открыл" эпоху третьей алии. Эпоха эта также была целиком пропитана традициями и духом русско-еврейской интеллигенции.

Верно то, что, начиная с эпохи Элиезера Бен-Иегуды (выходца из Белоруссии), в Палестине весьма ревностно охранялся иврит, отстаивалась его доминирующая роль. Однако в менее официальной обстановке одним из "основных"

языков, пожалуй, даже в большей мере, чем идиш или немецкий, был русский язык. Самые острые партийные и идеологические баталии разыгрывались на русском языке.

Ведущие лидеры, которые определяли политическое и культурное направление еврейской Палестины, выросли в большинстве своем на "дрожжах" русской дореволюционной культуры.

Рутенберг и Жаботинский лишь два наиболее ярких примера. Рональд Сторс — первый английский губернатор Иерусалима в начале двадцатых годов (известный своим афоризмом: "поста выше губернатора Иерусалима в мире быть не может") — жалуется в своих воспоминаниях, что для того, чтобы создать духовный контакт с передовыми кругами сионистов, необходимо быть прежде всего большим "начетчиком" в восприятии Толстого и Чехова.

Культурная жизнь еврейской Палестины опиралась не только на исконные еврейские традиции. Она больше чем из какого-либо другого источника черпала силы из русской культурной среды. Габима — детище Московского Художественного театра. Первые два режиссера Габимы, определившие направление театра, не были даже евреями. Общество еврейской музыки Энгеля и Розовского, возникло в Петербурге и Москве и лишь позже перенесло свою деятельность в Палестину. Русская песня в течение десятков лет господствовала в еврейской Палестине и даже в Израиле, да и поныне еще в среде молодежи мелодии русских песен звучат довольно часто.

Может быть, еще значительней было идеологическое влияние русской интеллигенции на формирование политических направлений в стране.

Одной из самых ярких и привлекательных фигур, стоявшей у истоков наиболее ценных и плодотворных направлений "рабочей" Палестины, был А. Д. Гордон. Выходец из Подолии, он, приближаясь уже к пятидесятилетию возрасту, переселился в 1904 году в тогда еще "дикую" Палестину и начал здесь новую жизнь простым сельскохозяйственным рабочим. Его произведения, которые стали едва ли не "Кораном" "трудовой" Палестины, жидились в очень

значительной мере на идеологии русского народничества, включая толстовство с его культом "опрощения". Да и вообще русское народничество с его идеализацией крестьянства, земли и деревни во многом определило направление рабочего движения. Недаром Виктор Чернов — лидер эсеров и председатель злополучного однодневного Учредительного собрания, — будучи многолетним парижским корреспондентом "Давара" (что тоже не случайный факт) и подолгу гостивший в стране, подчеркивал в беседе с моим отцом в 1935 году, что "Еврейская Палестина — это единственная страна, в которой провели в жизнь программу русских социал-революционеров!".

Но если идеология и традиции русского народничества были типичны для умеренно-левого фланга общественности страны, то, с другой стороны, "правые", группировавшиеся вокруг В. Е. Жаботинского, почти поголовно состояли из русских евреев. Сам Жаботинский, владевший в совершенстве многими языками, писал свои романы по-русски. Он настаивал на том, чтобы издавать центральный орган ревизионистской партии "Рассвет" в Париже на русском языке.

Многие элементы ревизионистской идеологии сложились в результате реакции на большевизм, не случайно окружение Жаботинского в Париже поддерживало тесные связи с русской эмиграцией. Двое из главных сотрудников Жаботинского по партии — Кулишер и Берхин — были одновременно близкими сотрудниками П. Н. Милюкова по его парижским "Последним Новостям" — самому представительному изданию русской эмиграции в эпоху между двумя мировыми войнами.

Репатрианты из Советского Союза могут считать себя в некоторой степени продолжателями традиций, которые оказывали столь глубокое влияние на формирование новой еврейской Палестины.

Правда, понятие "преемственности" тут требует некоторой оговорки. Духовная и культурная среда российского происхождения, с которой были столь тесно связаны еврейская Палестина, а позже и Израиль, в значительной мере

отлична от той почвы, на которой выросли сегодняшние советские евреи, особенно представители более молодого поколения. Ведь "русские" корни Израиля уходят в мир старой русской интеллигенции, которая, если не считать нескольких месяцев при Керенском, никогда не владела политическими судьбами России, но всегда представляла собой одно из самых замечательных явлений в многостральной русской истории. За 60 лет существования советского строя эти "корни" в самой России были в значительной мере выкорчеваны и уничтожены.

2.

Репатрианты из Советского Союза, число которых в Израиле превышает сто тысяч и в дальнейшем, по-видимому, будет расти, естественно в смысле своего общественно-культурного самопознания находятся на распутье. Их проблемы — это прежде всего приобщение к жизни страны, к ее культуре. И этот аспект их жизни и их будущего представляется совершенно очевидным. Ну а как обстоит с сохранением связей с Россией, с ее языком и культурой, на дрожжах которой выросли и сформировались сами репатрианты?

Вопрос о их будущей "роли" в стране отнюдь не второстепенен. Прошлое Израиля показывает, что каждая алия — вторая, третья, четвертая, пятая и более поздние — каждая по-своему оказывала свое влияние на развитие еврейской Палестины, а потом и Израиля. Новая алия становилась частью той свежей струей, которая обновляла и проветривала общество.

Обычный совет израильских старожилов репатриантам прост и "шаблонен": старое забудьте, "растворяйтесь" скорее в новой среде и почаще прислушивайтесь к совету старшего поколения. Но не предадут ли эти люди забвению свой собственный опыт "становления" в стране. Новые группы алии, особенно значительные, не "растворились", а вносили свою лепту, свой обновляющий вклад в ее жизнь.

Впрочем, часто этот "шаблонный" совет ватиков воспринимается как должное и самими репатриантами. После долгой, порой многолетней борьбы за выезд из России понятно ощущение, что "все корабли сожжены" по отношению к прежнему "неблагодарному" отечеству. Поэтому, быть может, и желательно как можно скорее избавиться от ненужного балласта прежних культурных и иных связей и безусловно раствориться в новой среде. Такая установка психологически понятна и даже почти естественна. И все же суть проблемы не так проста, как это кажется на первый взгляд.

Начнем с того, что, приехав в Израиль, евреи из СССР сталкиваются впервые с обществом и страной "западного" покроя (хотя Израиль и не особенно типичен в этом смысле). Та культура, в которой готовы "раствориться" новоприбывшие, в значительной мере не самобытная израильская и еврейская культура. Это, скорее, компоненты разных культур, представляющих собой отплеск современной технологической цивилизации, представленной в Израиле преимущественно образцами американского покроя. Растворение в этой цивилизации значительно проще, легче и быстрее, а для многих и привлекательней, чем приобщение к культурным самобытным традициям Израиля.

Между тем приобщение к израильской "самобытности" необходимо. Оно включает прежде всего знание языка, по возможности более полное, а также и освоение основных элементов еврейской традиции, создаваемой тысячелетиями. Проблема, однако, в том, что это большое культурное наследие пропитано целиком духом религии. Поэтому для всякого, кто не религиозен или, по крайней мере, не познакомился с элементами этого наследия в школе, оно выглядит весьма чуждым. У интеграции в стране есть и другие стороны, не связанные с религией. Свое влияние безусловно оказывают и ценные самобытные элементы культуры, сложившиеся в диаспоре на языке идиш. Вместе с тем создались специфические новые культурные традиции, связанные с "сельским" Израилем, с особыми, несуществующими в других странах формами поселения и быта.

3.

Итак, следует ли в этих весьма непростых условиях выбросить за борт "балласт прошлого" и целиком оторваться от культурного наследия России, от русского языка, следует ли оборвать прежние связи и интересы, целиком сжечь все "корабли" прошлого?

Сомневаюсь, в какой мере такой разрыв вообще возможен по чисто человеческим психологическим причинам, особенно для нынешнего поколения репатриантов. Но он нежелателен и в силу более дальновидных интересов, вытекающих из самой действительности Израиля.

Дело в том, что при всей значимости самобытных традиций они, конечно, недостаточны для формирования культуры современного Израиля. Как всякая маленькая и даже немаленькая страна, Израиль не может не пополнять ее многими элементами универсального характера, заимствуя их из других более или менее "самобытных" цивилизаций.

Уже шла речь о глубоком влиянии русской культуры и русско-еврейских общественных традиций на становление еврейской Палестины.

Были, конечно, и другие влияния, приближающиеся по значимости к "русскому". Серьезным было воздействие на Израиль немецкой культуры, представленной на палестинской земле прежде всего выходцами из Австрии, Буковины и Галиции, а с 1933 года и массовым притоком немецких евреев. Но с приходом к власти Гитлера это влияние — фактически все еще очень сильное до сороковых и даже пятидесятых годов — по понятным причинам официально и сознательно "отталкивалось". (Подобного "отталкивания" никогда не существовало по отношению к русскому языку и русской культуре, и так продолжалось, по крайней мере, до Шестидневной войны.)

В самом начале колонизации Палестины, происходившей под эгидой парижского Ротшильда, немалым было французское влияние. Частично оно вновь усилилось под воздействием массовой алии из Северной Африки и

"моды" конца пятидесятых и начала шестидесятых годов, в эпоху тесного политического сотрудничества между Израилем и Францией. Действовали и другие культурные компоненты — польского, венгерского, а также восточного и "средиземноморского" происхождения, представленного в стране очень многочисленными выходцами из арабских и других восточных стран.

Детально следует остановиться на постоянном, хотя до последних десятилетий и не доминирующем влиянии англосаксонского происхождения.

Количество выходцев из Англии и английских доминов было незначительным, а иммигранты старшего поколения, прожившие определенное время в Америке, по своему культурному и духовному облику являлись не столько американцами, сколько типичными представителями восточноевропейских стран.

Любопытно, что, несмотря на тридцатилетнее британское владычество в стране, влияние английской культуры особенно в первые два десятилетия было ограниченным. Система британского управления, основанная на широкой автономии еврейского (и арабского) населения (особенно в области культуры и образования), положение иврита как одного из официальных языков очень ограничивали английское культурное влияние и даже знание и применение английского языка. Оно было значительным в университете, в "официальном" и многонациональном Иерусалиме, однако очень слабым в Тель-Авиве и других районах с чисто еврейским населением.

Лишь в последние годы британского мандата, когда значительная часть молодежи из ведущих кругов прошла через английские университеты (в эпоху первых десятилетий мандата большинство студентов из Палестины учились в университетах Франции, Бельгии, Италии и до 1933 года Германии), английское влияние усилилось и даже начало принимать характер безусловного подражания английским образцам.

Немало дискуссий того времени в самых разных областях начиналось неизменным предисловием — "В Англии принято...

а у нас!". За последние десятилетия в Израиле это предисловие преобразовалось в — "В Америке принято... а у нас!".

Важно подчеркнуть, что заимствование из других культур в прошлом никогда не было слепым подражанием и "копированием" чужих образцов. Оно было всегда "селективным" — то есть отбирались те элементы, которые органически могли войти в культуру еврейской Палестины и Израиля. Более подсознательно чем сознательно отбиралось то, что было необходимо или что могло обогатить и оплодотворить новый культурный облик страны. Многие отвергались. Так — из русской культуры элементы, пронизанные православием или славянофильством, не поглощались, а отвергались. В более позднюю эпоху в Израиле не имела влияния марксистско-ленинская схоластика советского образца.

Взаимная конкуренция разных культурных влияний лишь усиливала "селективный" характер этого процесса поглощения.

Лишь за последнее десятилетие положение начало в корне меняться. "Селективный" и безусловно плодотворный для развития израильской культуры подход уступил место почти безусловному подражанию англосаксонским и прежде всего американским образцам.

Есть целый ряд глубоких причин, объясняющих этот феномен.

Это прежде всего отражение тенденций, возникших в мире после Второй мировой войны, когда английский язык стал неоспоримо господствующей "lingua franca", в то время как Соединенные Штаты стали господствующей мировой державой.

Особенно выросла зависимость Израиля от Америки — военная, политическая и экономическая. Конечно, логически подобное положение отнюдь не ведет к зависимости культурной, но почти всегда ею сопровождается.

Во второй половине 17-го века Италия по уровню культуры была несомненно выше Франции, но в ту минуту, когда Франция стала при Людовике XIV "первой" державой Европы, французский язык занял доминирующее положение

в Европе, а Версальский дворец стал неоспоримым образцом архитектуры.

Культурное влияние Америки в Израиле особенно возросло благодаря связям с американским еврейством, заменившим после катастрофы при Гитлере европейское и прежде всего восточноевропейское еврейство как ведущую силу диаспоры. Сегодня целая гамма связей — политических и финансовых, культурных и лично-родственных — протягивается между Израилем и многочисленным американским еврейством.

В Израиле выросло новое поколение, ставшее большинством, — родившееся в стране и прошедшее школу в стране, школу, в которой из всех иностранных языков основательно преподается лишь английский и на второстепенном плане — французский и арабский. Поэтому уроженец Израиля обычно хорошо, или, по крайней мере, сносно, владеет английским и в большинстве случаев не знает других иностранных языков.

Подавляющее большинство израильских студентов совершенствуются в американских университетах, незначительное меньшинство — в английских и совсем немногие — в неанглоязычных странах.

Несомненно, что в целом ряде областей — особенно естественных, технических и медицинских — Америка сейчас является первым научным центром мира, также лучшим местом для специализации в ряде других областей. Но Америка весьма далека от Израиля по ее масштабам, ресурсам, она далека от него и по социально-экономическому строю, по стилю жизни, по традициям. Тот общий подход в экономической, общественной и культурной сферах, который можно приобрести в Америке и ее университетах, часто мало применим к условиям Израиля и нередко выглядит здесь как на корове седло.

Вопрос, однако, не в том, какую ценность для Израиля представляют американские образцы и американский стиль жизни, а в том, что Израиль постепенно превращается из субъекта, который "селективно" обогащал свою культуру из очень разносторонних и разноязычных источников, в объ-

ект чисто одностороннего влияния. Иначе говоря, идет процесс, грозящий превратить Израиль в маленького сателлита Америки, притом не только сателлита политического и экономического, но и не в меньшей степени культурного.

4.

Приезд в Израиль сотысячной группы евреев из Советского Союза может смягчить этот процесс.

Это не означает, что все, вынесенное репатриантами из Советского Союза, способно органически влиться в культуру Израиля. То, что навязано специфическим характером советского тоталитарного режима, будет отброшено. Отвергнутыми окажутся и те элементы культуры, которые являются результатом несоизмеримых с Израилем масштабов Советского Союза или каких-то других особенностей советской действительности. (Например, сравнительно узкая специализация многих представителей интеллигенции, столь отличная от широкого интеллектуального размаха русской и русско-еврейской интеллигенции досоветской эпохи.)

Однако культурный "багаж", привезенный с собой репатриантами из СССР, содержит и немало ценного, связанного с традициями прежней русской культуры, несмотря на более чем полувековое выкорчевывание этих традиций советским режимом.

Кроме того, при безусловном отрицании самого режима и марксистско-ленинской схоластики вряд ли будет верным огульно отвергать все области культуры, возникшие уже на советской земле. И едва ли тут также не найти ценных элементов, способных обогатить современный Израиль.

Парадокс состоит и в том, что "возрождение" русского языка в результате массовой иммиграции из Советского Союза косвенно способствует сохранению в стране доминирующего положения иврита.

До последнего времени, даже когда знание иврита в стране было далеко не поголовным и лишь немногие владели им в совершенстве, он тем не менее почти с самого начала был единственной "lingua franca" еврейской Палестины — он был единственным общим языком для общения между иммигрантами, говорившими между собой на идиш, ладино, по-немецки, по-русски или по-английски. Отсутствие какого-либо другого, объединяющего всех языка было главной предпосылкой того, что иврит сравнительно быстро утвердился как единый для всех, обязательный и официальный язык.

Именно в связи с этим возникало столь нетерпимое отношение к идиш, который в комбинации с близким ему немецким языком был как бы способен конкурировать с ивритом и угрожать его господствующему положению. Кроме того, в идиш видели символ галута, который следовало "преодолеть".

Любопытно, что терпимость к русскому языку была значительно большей, чем к идиш, хотя в действительности идиш никогда не был в состоянии конкурировать с ивритом и претендовать на роль всех объединяющего и связывающего языка. Многочисленные восточные и сефардские элементы были ему чужды, да и среди ашкеназийцев были всегда широкие круги, которые им не владели. Всякие претензии немецкого языка конкурировать с ивритом были "похоронены" с победой нацизма в Германии, хотя фактически именно в тридцатых и сороковых годах он был чрезвычайно распространен, даже в качестве "делового" языка на некоторых заседаниях еврейских национальных организаций.

Таким образом, положение иврита как единственного, объединяющего и главного культурного языка оставалось незыблемым как раз в эпоху британской власти, которая, впрочем, отнюдь не отличалась "империализмом", когда дело касалось распространения английского языка.

Но вот в эпоху независимости Израиля за последние десятилетия, и особенно в последние годы, впервые наме-

тилась угроза господствующему положению иврита прежде всего в области культуры.

Растущая зависимость от Америки, изучение английского языка еще в народной школе, его широкое применение в деловом обиходе, в университетах в качестве языка значительной части научной и даже ненаучной литературы — все это медленно, но верно создает ему положение второго параллельного языка страны. В будущем он может с легкостью стать и "первым" языком в культурной жизни, деловом обиходе, занять даже ведущее место в качестве разговорного языка элитарных кругов страны.

Иврит же может оказаться лишь в роли местного "туземного" языка, используемого в повседневном обиходе.

Таково до сих пор положение хинди и других языков Индии (не говоря уже об африканских странах с полным господством английского или французского языков).

Появление крупной группы иммигрантов из Советского Союза, освоившей элементы университетской культуры не через английский язык и не связанной с английским культурным кругом, ослабляет в какой-то мере господствующее положение английского языка в стране и вновь укрепляет положение иврита в качестве главной и почти единственной "lingua franca" страны.

Конечно, незнание или слабое знание английского большинством репатриантов из Советского Союза создает им трудности в личной карьере. Но объективно, с точки зрения сохранения господствующего положения иврита, это является плюсом.

5

Существует и другая причина, почему полный разрыв связей с Россией Отнюдь не выглядит желательным. Речь идет не о культуре и языке, а о связях общественных с

различными советскими кругами и, может быть, особенно с кругами оппозиционными, включая известные группы, находящиеся в эмиграции.

Согласно упрощенному сионистскому подходу сжигание всех мостов и абсолютное переключение с прежней почвы на новую является как бы необходимым атрибутом алии. Но предъявлялось ли когда-нибудь такое требование по отношению к западноевропейской и особенно американской алии?

С другой стороны, Россия всегда будет иметь значительное влияние на судьбы Ближнего Востока. Вопрос лишь в том: к а к а я Россия? Трудно, конечно, представить, что теперешнее правительство СССР изменит свою антиизраильскую линию. Но в будущем разве невозможны изменения? Нельзя точно предсказать, когда в Кремле может появиться русский Дубчек — при смене Брежнева новым вождем или позже, через три, пять или более лет, но имеется ряд глубоких причин, позволяющих полагать, что такой сдвиг в перспективе не только возможен, но даже и вполне вероятен.

Если такой сдвиг произойдет, то он не может оставить без влияния как внешнюю политику Советского Союза, так и положение советского еврейства. Откроются новые возможности для политических контактов, для роста алии.

Поэтому связи — личные, профессиональные и другие, которые и поныне сохранились между репатриантами из Советского Союза и представителями советского общества (включая те круги, которые "завтра" после такого сдвига могут приобрести влияние и даже стать "определяющими"), — имеют значительную ценность и с точки зрения интересов Израиля. То же относится и к кругам русской эмиграции за рубежом Советского Союза. Немалое количество людей еврейского происхождения среди этих кругов облегчает контакты. Возможно, что и эти круги в случае "сдвига" в самом Кремле останутся не совсем без влияния, и тогда все эти связи явятся ценными заявками на будущее, хотя и никто не может предсказать, через сколько лет это "будущее" может превратиться в реальность.

Итак, плодотворный эффект алии из СССР достигается отнюдь не тем, что она растворится в израильском обществе, а тем, что она органически вольется в существующую "мозаику культуры, сохраняя в известной мере свой особый характер, свои традиции и культурные связи. Новой группе предстоит приобщиться к самобытной культуре Израиля, однако она совсем не обязана торопиться выбросить за борт весь свой прежний культурный багаж и целиком заменить его теми элементами, которые, по сути своей, не столько израильские, сколько отражают влияние технологической цивилизации американского образца.

"ВРЕМЯ И МЫ"

В ближайших номерах: роман Хаксли "Этот счастливый новый мир", Каплан "Наша армянская кровь", А. Б. Иошуа "Продолжение хамсина", "Эссе о времени" Майи Каганской, статьи Вл. Мармзина, Наталии Рубинштейн и др.

Стоимость подписки на год — 264 лиры, на полгода — 144 лиры. В открытой продаже — 27 лир. Оплату годовой подписки можно произвести в три приема, а полугодовой — в два (последний чек вносится в апреле 1977 года).

Журнал продается — в Тель-Авиве: в магазинах Болеславского и Лепак, Сдерот Асефер (ул. Алленби, 116), в супермаркете Амашбир Лецархан (ул. Алленби, 115), в Иерусалиме: в супермаркете Амашбир Лецархан (ул. Кинг Джордж), в магазине "Дар", в Хайфе: в магазинах Лепак и Бронфмана (на Центральной автобусной станции), в Реховоте (на Центральной автобусной станции).

У С Л О В И Я П О Д П И С К И З А Р У Б Е Ж О М

В США и Канаде — 39,20 \$ (на год)
Во Франции — 184F.FR —"
В Германии — 92 DM. —"

Виктор ПЕРЕЛЬМАН "ПОКИНУТАЯ РОССИЯ"

Автобиографическое повествование в двух книгах

*ВЫХОДИТ В СВЕТ КНИГА ВТОРАЯ
"КРУШЕНИЕ", 210 стр.*

СОДЕРЖАНИЕ

Отрицание отрицания
 Московское Радио
 Первый фельетон
 Докажите, коли сумеете
 Дело Абрама Великовского
 Совость партии
 Расплата
 Никита Иванович и другие
 Надо жить
 Aqua riga
 Столоверчение
 Скорняк поневоле
 Снова бунт
 ...И снова иллюзии
 Самая еврейская газета
 В "черном списке"
 Дебют
 Литературный репортер
 Неуправляемые ассоциации
 Репликист Миша Синельников
 Лимит на Пастернака
 Комедианты
 Правда и ложь "Литературки"
 Гайд-Парк при социализме
 Александр Чаковский
 Горечь свободы
 Последний день
 Разговор с Леонтием Кузьмичом (вместо послесловия)

Цена книги в Израиле — 27 лир, при заказе в издательстве — 23 лиры. При одновременной покупке первой и второй книг цена в магазине — 44 лиры, в редакции — 38 лир. Стоимость за границей — 3 доллара. Заказы принимаются по адресу: ул. Нахмани, 62, Тель-Авив. Издательство "Время и мы". К заказу должен быть приложен чек и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.

Илья Рубин прожил тридцать пять лет — из них тридцать четыре года в Москве и один в Израиле — и ушел от нас так же стремительно и неожиданно, как он делал все, что он делал. Скоро месяц, как его нет среди нас, а отсутствие его не становится привычным, и живое, дружеское чувство все не вытесняется благостным расположением к покойнику. Давние беседы не кончены, не оспорена казавшаяся очевидной страстная неправота — и если что и жжет особенно сильно, то это ощущение недовренности, недовыясненности, недоговоренности, которое — как это видно теперь — было настойчивым мотивом его стихов, осознанным принципом в построении статей, а может быть, и всей его жизни, так и не добравшейся до эпилога, оборванной в середине сюжета...

Главным стремлением, вряд ли четко сформулированным, но безусловно осознанным, было — не прислоняться к чужим великим идеям, не полагаться на вырешенное прежде, не оставаться связанным собственным вчерашним мнением, а искать точное слово, выражающее сегодняшнюю мысль. Нравственная позиция заключалась в безбоязненном выражении самых смутных и тревожных ощущений, отбросить которые ради четко означенных идей казалось ему нечестным.

Статья о прозе Бориса Хазанова стала последней работой Ильи Рубина. Оглядываясь с улыбкой на свое и своих друзей недавнее героическое прошлое борцов за еврейское самосознание, он не ощутил прилива патетических эмоций, а оставил нам групповой набросок, окрашенный грустным скепсисом и автоиронией, не отменяющих генеральных принципов, но не позволяющих ограничиться ими... "Не рано ли, Илья?" — спросил один из узнавших себя. Оказалось, что в самый раз. Никогда нельзя откладывать правду на потом. Надо жить на пределе, на краю безоглядно правдивого слова. Потому что — увы! — оно может оказаться последним и продолжение следует не всегда.

В Тель-Авиве, в Москве и в Париже — везде, где застала нас еврейская и русская судьба, мы скорбим об утрате друга, и боль объединяет разъединенных.

Н.Р.



Илья РУБИН

СВОЕВОЛИЕ БОРИСА ХАЗАНОВА

Несколько лет назад я повстречался и связал свою дальнейшую судьбу с группой людей, которых объединяло и отличало от прочих смертных одно свойство — острое ощущение своей бездомности. Я мог бы, наверное, узнать их и раньше — у нас оказалась бездна общих знакомых, но "легче верблюду пройти сквозь игольное ушко", чем заметить бездомного из окна благополучной квартиры...

Я так и не понял до сих пор — кто они, эти люди, и как я стал одним из них. Целыми днями мы складно болтали о всякой всячине — еврейской культуре, Израиле, Бубере и отсутствию в России демократических и национальных свобод — но за всей этой болтовней стояло жуткое чувство заброшенности и беспризорности. Думаю, что именно это чувство подразумевают иные романисты, когда пишут что-нибудь вроде: "Грудь его переполнилась сладостным ощущением свободы". Не знаю, как другим, но мне было страшно — страшно глядеть в пустые, безумные глаза профессора-физика, который, запинаясь, бормочет о пользе языка иврит, страшно принимать участие в обсуждении политики Госде-

партаменты и поправки Джексона. Что-то было во всем этом потусторонне-недостовверное, как в спиритическом сеансе или поедании цирковым фокусником толченого стекла. Слушаешь гладкую речь респектабельного седовласого господина — и говорит-то он как будто дело,— а все ждешь невольное, что раздерет он на груди чистейшую сорочку скрюченными от муки пальцами и вззоет, подобно гоголевскому ожившему мертвецу: "Душно мне! Душно!"

Россия наделила нас всем, что предлагает русская традиция политического бесовства сообществам такого сорта, — героизмом, предательством, бешеными спазмами мелких честолюбий и любовными связями; но поверху, над головой, все время что-то тихонько поскрипывало и посвистывало, словно кто-то размахивал над нами заржавленной косой.

Именно тогда, три года назад, перебирая очередную порцию дряхлых, подслеповатых листков, которая гордо именовалась свежим номером журнала "Евреи в СССР", я был настойчиво окликнут неким заголовком — и вздрогнул от этого оклика, будто меня в чем-то уличили. "Новая Россия", — прочитал я (а разбуженная память услужливо подсказывала — "Новая Элоиза"... "Вита Нова"... "Новый Органон"). Чуть ниже заголовка помещался эпиграф: "О чем же мы станем беседовать? У меня, вы знаете, всего одна идея..." — и так далее, эти несколько чаадаевских строк из письма к Пушкину, рецептурно-непререкаемых, одержимых любовью, горьких строк. Для того чтобы задуматься над баснословностью встречи, мне было вполне достаточно эпиграфа и заголовка...

Встретить себе подобного было для меня не меньшим потрясением и радостью, чем для Робинзона Крузо — заметить на горизонте парус приближающегося корабля.

Горькую радость встречи со "своим" испытывал я, читая статью Бориса Хазанова "Новая Россия"— открытие глубокого душевного сродства, суть которого лежит не в безобидном и респектабельном сходстве склонностей и вкусов, но в общем калечестве, одинаковом отклонении от нормы (то же самое чувство в эти годы появилось у меня еще один только раз — при чтении книги Александра Воронеля "Трепет забот

иудейских"). Есть некие масонские знаки, позволяющие членам нашей секты почти безошибочно узнавать "своего" — одно-два имени, общеизвестных, но особым образом сцепленных, интонация, характерная обмолвка, любовь к собственноручному изготовлению замысловатых блюд или трухлявый стихотворный сборничек издательства Гржебина, притупившийся на книжной полке между госиздатовских глыб.

Наша секта наделена всеми необходимыми признаками тайных еретических сект — гонимостью, твердой убежденностью в своем высшем предназначении, особым жаргоном, столь же эзотерическим, как блатная феня или тайнопись каббалистов, специфическим, только ей присущим, бытом — уютным, обшарпанным и печальным. Лишь названия ей еще не придумано — хотя многие из нас в судорожных попытках самоидентификации чаще всего употребляют два эрзац-имени — "еврей" и "российский интеллигент". Думаю, что второе ближе к нашей сущности и меньше отдает на вкус самообманом, судя по той легкости, с какой мы переходим от защиты своего еврейства среди русских к не менее исступленному отстаиванию своей русскости среди евреев. Но и российские интеллигенты — это не совсем мы (а может быть — и совсем не мы). Ибо своей родиной мы объявляем то Новую Зеландию (и остаемся жить при этом в России), то Израиль (и, приехав туда, клянемся вечно остаться хранителями великой русской культуры).

Я уже говорил, что мы легко узнаем друг друга. Но окружающие распознают нас просто мгновенно — и всякое лыко ставят нам в строку — уклон в иудейство и уклон в христианство, дурацкую торжественность на фоне всенародного хихиканья и неуместную улыбку во время торжественной церемонии, космополитизм и национализм, любовь к России и ненависть к России. Еще не видя "своего", но слышав издали возгласы благонамеренной толпы, свист и улюлюканье, визгливые обвинения в непатриотизме, увидев жирные спины, сгрудившиеся вокруг чего-то маленького и беспомощного, я с уверенностью говорю: "Это бьют кого-то из наших". Через несколько минут все уже кончено, толпу рассасывают близлежащие переулки, а с земли подымается

нечто бесформенное и, всхлипывая, бредет куда-то, покачиваясь и протирая рукавом разбитые очки. Стоит ли спрашивать его, куда он направляет свои стопы — домой? в Израиль? в Новую Зеландию?

Уже несколько лет из промозглых советских потемок постепенно выплывает на свет Божий неведомый прежде остров, называющийся Борис Хазанов, — рассказы, повести, стихотворения, переводы, статьи. И все чаще встречаются люди, которые, говоря о современной русской литературе, естественно дополняют этим новым именем короткий список, составленный из немногих, ставших уже привычными, имен. Хотя — если проверить гармонию хазановской прозы дотошной литературоведческой алгеброй — обнаруживается одна трудно объяснимая странность (другому писателю подобная странность могла бы стоить репутации!): Хазанов кажется нам совершенно самостоятельным и оригинальным писателем, а между тем многие его произведения (признаваемые всеми в числе лучших) с простодушной откровенностью кого-то или что-то напоминают — Томаса Манна ("Час короля"), Кафку ("Дорога на станцию", "Частная и общественная жизнь начальника станции"), Камю ("Идущий по воде")... Чем больше я размышлял над этим противоречием, тем более важным оно мне казалось, пока я не понял наконец, что в нем-то и зарыта "зеленая палочка", скрытая в глубине творчества всякого истинного писателя...

Около пяти веков назад старец псковского Елеазарова монастыря Филофей сформулировал известную историософскую концепцию "Москва — третий Рим". "И, странное дело, — с удивлением отмечает современный историк, — теория эта обосновывала право московских князей на центральную власть в России, предрекала Москве роль вечного центра мировой истории, ибо четвертому Риму "не быти", но тем не менее она осталась в конечном счете всего лишь теоретической конструкцией, не получила широкого и долговременного применения в практике московского правительства". Одним словом — концепции псковского старца не повезло; с концепциями, как и с людьми, это бывает. Ее не то что забыли, но вспоминали как-то без энтузиазма, а

порою — и с явным раздражением. Уж больно неримским был Филофеев Рим — с его неуклюжей свирепостью, немилосердной стужей и раскосым христианством. Но через много сотен лет обнаружилось, что старец был не совсем не прав...

"Что мы знаем твердо, так это то, что мы пришли после катастрофы", — утверждает в одной из своих статей Борис Хазанов. И далее: "Мы живем в сознании великой потери". А раз была катастрофа, раз произошла великая потеря — значит, был и Рим? Конечно, Москва Василия Темного и Малюты Скуратова не была истинным Римом — в той же самой мере, в какой и всамделишный Рим Нерона и Домициана не был тем Римом, который стоило бы оплакивать. "Тюрьма народов", "жандарм Европы", "нация рабов" — эти бранные клички одинаково годились и для императорской России, и для императорского Рима. Но великие и бесчеловечные Империи не только казнят, запрещают, завоевывают и подавляют — они меценатствуют, забывают, прощают и смотрят сквозь пальцы. В жестких складках шкур этих Левиафанов ухитряются кое-как коротать свой век Достоевские и Петрони, Овидии и Пушкины, Чаадаевы и Тациты... Их объявляют безумцами, ссылают в Дакию или на Кавказ, убивают на дуэли, им высочайше приказывают перерезать себе вены — и все-таки их венчают лавровыми венками, все-таки они плоть от плоти Империи, ее посмертная гордость, вечный укор ее совести. Империя не только убивает их — она их возвеличивает (часто против своей воли), и они, смиренные каторгой или смертью, платят ей тем же.

А потом — потом приходит Катастрофа, и варвары волокут по живому телу Империи чичиковские брички, приспособленные под пулемет... Тогда (неожиданно!!!) наступает время великих слез: "Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?" (Иона, 4:11). Тогда и оказывается, что настоящим Римом — и первым, и вторым, и третьим — можно воистину сделаться лишь после гибели. Ибо настоящий Рим строят не голодные рабы, не крепостные мужики — настоящий Рим в с п о м и н а ю т, оплакивают ("мне ли не пожалеть..."),

возводят в своем милосердном воображении поэты. Тогда-то вырастает на месте страшного Петербурга "Медного всадника" тот светлый город, где захоронено мандельштамовское солнце.

Тогда на пустом, загаженном месте снова возникает римский патриотизм — очищенный от кровавых пленок верно-подданнического патриотизма времен Империи — патриотизм-воспоминание, патриотизм-иллюзия, патриотизм-химера, патриотизм-поэтическая выдумка. И самыми яростными патриотами оказываются чаще всего не италийцы и не великороссы, а так называемые инородцы. "В своих великолепных панегириках Клавдиан, стоя на краю бездны и не желая замечать грозящей опасности, прославлял богиню Рима, ее величие и мощь. Римский патриотизм этого греческого выходца из Египта был неподделен и глубок. В любви к "золотой богине Рима" ему не уступал младший его современник, Рутилий Намациан из южной Галлии. В 416 году, покидая Рим перед возвращением на родину, он целовал ворота Рима, обливаясь слезами". Так пишет о последних римских поэтах, влюбленных в свой (чужой?) гибнущий, несчастный город, историк Голенищев-Кутузов. И еврей Борис Хазанов вторит ему, признаваясь в своей безнадежной, гибельной, безответной любви к третьему Риму и его языку, золотой пушкинской латыни: "Русский язык — это и есть для меня мое единственное отечество. Только в этом невидимом граде я могу обитать... Безумие мое бредит по-русски... Земля моих отцов — та, на которой мыкаюсь я сейчас. Или вообще никакая" ("Новая Россия").

Гибель Империи — это не только и не столько загаженный нечистотами Форум или взорванный Храм Христа-Спасителя — это крушение Космоса, всеобъемлющего иерархического порядка, который сам по себе вполне заслуживал Божьей кары, но в то же время таинственным образом организовывал и животворил великую культуру. Уникальная и самодостаточная культура всегда целиком реализует себя в контексте одного национального Космоса, одного иерархического порядка, хотя отдельные проявления культуры могут (а может — и должны) быть чужды этому порядку или

враждебны ему. С известными оговорками можно сказать, что культура и порядок дополняют друг друга, вместе исчерпывая до конца национально-историческую ситуацию, хотя осуществляется это дополнение не в процессе добровольного сотрудничества, но в борьбе, в атмосфере взаимного непонимания, отлучений и анафем. В России, например, основополагающей исторической ситуацией было растущее из века в век отчуждение народа от государства, правящей элиты, интеллигенции. Славянофилы строили на этом отчуждении оптимистическую концепцию избранности (богоносности) русского народа, западники — предсказывали неминуемое крушение Империи, если отчужденность не будет преодолена, государственные деятели и революционеры пытались манипулировать народом — в собственных интересах или в интересах самого народа, как они их понимали. В 1917 году гордиев узел извечной русской ситуации был разрублен, и весь круг проблем российской культурной традиции перестал существовать. Возник своеобразный исторический вакуум — и положение в нем интеллигенции было подобно положению Робинзона на другой день после кораблекрушения. Ведь само понятие "необитаемости" крайне условно — для коз и попугаев или для дикарей, устраивавших на острове пикники с песнями, плясками и поеданием себе подобных, остров был вполне обитаем. Он был необитаем лишь с точки зрения Робинзона Крузо — единственного на острове носителя европейской цивилизации. Когда Даниэль Дефо подробно описывает сложный процесс изготовления глиняных горшков или героическую эпопею перетаскивания лодки, наш интерес ко всему этому вызывается не только "остранением" — литературным приемом, когда знакомый предмет, увиденный как бы впервые, кажется нам странным и необычным. В романе Дефо обновляются не предметы, а отношения: "остранение" из литературного понятия становится понятием экзистенциальным. Нас глубоко трогает и впечатляет попытка одинокого человека заполнить культурную пустоту, не выжить любой ценой, но активно противостоять "необитаемости".

Это же противостояние я усматриваю и в творчестве Бориса Хазанова. С той же кропотливой настойчивостью, с какой Робинзон воссоздавал вокруг себя материальные символы утраченной цивилизации, Хазанов в условиях "необитаемой" России строит свои повести, рассказы и статьи из обломков европейского гуманизма. В самих концепциях Бориса Хазанова нет, пожалуй, ничего нового — как не было ничего нового в технологии изготовления Робинзоном глиняных горшков; впечатление новизны производит одинокая попытка на островах воспетого Солженицыным необитаемого Архипелага отстоять человечность Томаса Манна и скептицизм Чаадаева. Эта попытка трагична и заранее обречена на провал, и автор знает об этом — недаром гибнут романтические гвардейцы, выступившие в защиту своего монарха, гибнет сам король, нацепивший во имя чести желтую звезду, гибнет Ларешник, во имя чести отказавшийся платить уркам положенную дань...

Трагизм позиции Бориса Хазанова состоит в том, что он отказывается ошибаться вместе с эпохой и судить себя ее судом. Это и создает ту атмосферу добровольного одиночества, что пронизывает почти каждую его страницу, — одиночества русского интеллигента, добровольно признающего себя евреем, одиночества еврея, добровольно решившего остаться русским интеллигентом. Если окружающий тебя мир безумен, неприемлем, отношения с этим миром суживаются до отношений с самим собой: "Безвыходность избавляет от ответственности — перед кем? Перед другими. Но не перед самим собой" ("Час короля"). Нравственный выбор в безвыходном положении — вот основная тема творчества Бориса Хазанова.

В повести "Час короля" этот выбор осуществляет король Седрик X — архаический символ порядочности и разума — тех добродетелей уходящей Европы, которые были ее способом существовать, ее мифом, но в XX веке были растоптаны и осмеяны. Одиночество Седрика помножено на одиночество его крошечной державы — она по воле автора самая беспомощная из всех беспомощных скандинавских стран; всеиль-

ное и наглое зло настолько больше ее, что военный конфликт автоматически превращается в нравственную проблему.

Почти навязчиво Хазанов убеждает нас в немотивированности поступка Седрика, отбрасывая все возможные практические, утилитарные цели, которые он мог бы преследовать. Этот поступок автор именует "абсурдным деянием". В статье "Идущий по воде" Борис Хазанов разъясняет философию "абсурдного деяния": "Так рождается концепция Деяния с большой буквы, того самого "мгновения истины", когда человек раздвигает сетку узаконенных координат, словно прутья решетки... Абсурдный шаг, нелепая выходка... Это свобода, которая апеллирует к самой себе". Если в XIX веке еще верили, что справедливость и свобода достижимы в рамках рационально построенного общества, то в XX веке свободу обретают лишь одиночки, способные поступать нелогично, иррационально, абсурдно. Все это может показаться сколком с философии Раскольникова ("своеволие заявить"), но за сто лет своеволие поменяло знак на противоположный: если во времена Раскольникова своеволие заявляли убийством, то сейчас своеволием и абсурдом звучит отказ от убийства. Причем изменилось не только "преступление", но и "наказание": Раскольникова за убийство двух женщин приговаривают к каторге, Седрика за проявление неуместного сочувствия к евреям расстреливают. Так повысилась цена свободы.

Лагерные рассказы Хазанова показывают нам тот мир, который, казалось бы, уже хорошо знаком всем, читавшим Солженицына, Шаламова, Синявского, Марченко. Но есть какой-то неуловимый сдвиг точки зрения, заставляющий нас не столько увидеть, сколько почувствовать по-новому хазановский Архипелаг. Для большинства современных русских писателей (и прежде всего — для Александра Солженицына) ситуация лагеря допускает внутри себя квазинормальное человеческое существование, то есть может идти речь о физическом и нравственном выживании, о полноценном социальном выборе между подлостью и честью, добром и злом. Праведность Ивана Денисовича — это нормальная праведность нормального человека в очень трудных условиях.

В сущности, лагерь не изменил ни кавторанга, ни Цезаря, ни Алешки-баптиста, ни Ивана Денисовича. В этом мире они не встретили ничего такого, что заставило бы их поменяться ролями или исполнять одну и ту же роль. Солженицын сравнивает сталинскую систему террора с Дантовым Адом (отсюда — название романа "В круге первом"). Но Ад у Данте — это царство торжествующей справедливости, одно из условий разумно устроенной вселенной. Лагерь уже настолько стал необходимым элементом нашей вселенной, что мы решаем, как вести себя в лагере, молчаливо предполагая его закономерным продолжением повседневности бытия.

Для Бориса Хазанова лагерная ситуация почти исключает человеческое поведение. То есть она настолько абсурдна сама по себе, что делает невозможным "абсурдное деяние", утверждающее свободу. Если Седрик и его гвардейцы вольны выбрать почетную смерть, то эски слишком мертвы для того, чтобы подобный выбор имел хоть какое-нибудь значение. Лагерь Хазанова напоминает не Дантов Ад, где страдают живые души, а языческий Аид, серое царство теней, чуждое всем человеческим чувствам, кроме чувства бесконечной тоски. В этом сером мире исчезают обычные мерки, обесмысливается честность, обесценивается жизнь, становится будничным преступление. Голодное и раздавленное полуживотное, в которое превращен заключенный, перестает подлежать суду своей совести. Подвиг Седрика, его карнавальное переодевание, превращается во всенародный карнавал. Зло враждебно не только Седрику — оно враждебно его стране, его подданным, с которыми он связан одинаковыми понятиями, привычками, моралью. Ларешника наказывает его собственное общество — его честность в этом обществе неуместна, даже преступна. Поступок Седрика вызывает безоговорочное восхищение, упорство Ларешника — почти раздражает: а не лучше ли было уступить уркам? Стоит ли "заявлять своеволие" в этом мире — даже самому себе?

Сам Борис Хазанов на этот вопрос отвечает все-таки утвердительно. Да, стоит. Стоит заявить своеволие России: "А родины-таки нет. Есть чужая страна, ссылка, египетская пусты-

ня... А мы-то думали, что по крайности сидим на Венериной горе, что это план Тангейзера в изукрашенном гроте. А это подлинно Египет, Египет с его фараоном" ("Идущий по воде"). Стоит заявить своеволие и своему еврейству, пригрозив ему Новой Россией в Новой Зеландии. (Хотя в последней, еще неопубликованной статье Бориса Хазанова адрес Новой России изменился — она будет построена теперь в Израиле.) Разве сама проза Хазанова не выглядит "абсурдным деянием", "хождением по воде", возмутительным своеволием на этом громадном и почти необитаемом острове по имени Россия?

В наши дни гуманизм превратился из смутно чаемой возможности в возможность несбывшаюся. Судьба интеллигентов, еще продолжающих оборонять последние его форпосты, иногда напоминает мне жестокий эпизод из романа Артема Веселого "Россия, кровью умытая": во время гражданской войны красногвардейцы, отступая под натиском белых, устраивают забавную шутку — приказывают солдату-китайцу остаться и оборонять до последнего патрона важный военный объект — деревенский сортир. Лишенный чувства юмора китаец героически погибает. Быть может, всем нам (и Хазанову) тоже не хватает чувства юмора? Ведь сказал же об интеллигенции в 1920 году советский прокурор товарищ Крыленко: "Эта социальная группа отжила свой век, и, думается мне, нам нет нужды добывать отдельных ее представителей".

В те минуты, когда я чувствую себя китайцем, обороняющим сортир, и совсем уже готов согласиться с мнением товарища Крыленко, в те дни, когда остров кажется мне особенно необитаемым, я вспоминаю последние строки статьи Хазанова "Идущий по воде": "Вы скажете: а почва? как же можно жить, имея под ногами вместо родной почвы — бездну? Но удел русских евреев — ступать по воде. Вы скажете: ходить пешком по воде противоестественно. В ответ я могу лишь пожать плечами. Мне нечего на это возразить". Мне, как и Хазанову, тоже нечего возразить. Но почему-то эти несколько слов разгоняют тоску. Становится не так одиноко — будто на горизонте наконец показался долгожданный парус...

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

"LA PENSEE Russe"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой.
Распространитель: "Атлас", ул. Членов, 49, Тель-Авив.
Цена в розничной продаже — 3,5 лиры. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.

ИЗ ПРОШЛОГО



Юлий МАРГОЛИН

СЕНТЯБРЬ, 1939

Окончание. Начало см. в 13 номере журнала.

6. ПИНСКАЯ ТЮРЬМА

19 июня 1940 года в 10 часов вечера зашел за мной милиционер и забрал в милицию.

Уже четыре дня шли в городе Пинске аресты беженцев, записавшихся на выезд из Советского Союза, Кто были эти беженцы? Пинские евреи, бежавшие от гитлеризма. Прибыли они из Вены, гитлеровской оккупации,— и попали, как говорится, из огня да в полымя. Пинск и вся восточная часть бывшей Польши были заняты Красной Армией. Я знал, что многие, знакомые и незнакомые, уже взяты. Не было ясно, заберут ли всех или будет сделано исключение для особенно нужных и незаменимых работников. Не было ясно, какая судьба ждет арестованных. Первые аресты не вызвали особой паники среди беженцев, которые спокойно ожидали своей очереди с верой, что им ничего злого не сделают, и, в крайнем случае, ну что же, — вышлют в Россию, где они смогут получить работу и переждать войну.

Утром 19-го зашел в мое отсутствие милиционер и спросил, когда я бываю дома. Ему сказали, что я возвращаюсь вечером к 10 часам. Он предупредил, что придет в это время.

Вечером я сидел в своей комнате. Все у меня было готово: я уложился, приготовил чемоданчик с необходимыми вещами. На столе лежала книга, которую я так и не успел дочитать до конца: "Краткий курс истории ВКП (б)".

Ровно в 10 часов ВКП (б) в образе курносого парня с младенческим лицом вошла в мою комнату. Увидев чемоданчик, милиционер улыбнулся и сказал: "Это не нужно. Вас только вызывают на полчаса, на разговор к начальнику".

У меня отлегло от сердца. Я не знал, что это обычная в таких случаях уловка. Милиционер должен за вечер привести ряд людей и не хочет ни пугать их, ни ждать, пока они соберутся. Кроме того, у него нет приказа об аресте. Он только приглашает "зайти в милицию".

Иначе взяли моего соседа. К нему вломилась ночью люди с ружьями. Окружили дом. Хозяева подняли плач, решив, что это за ними. У него произвели обыск, чего у меня не было. Отвезли его сразу в тюрьму на грузовике, который был битком набит. И ему тоже пообещали, что он "сейчас вернется". Это была неправда. Никто из взятых не вернулся, и многие погибли в изгнании.

Я вышел на улицу, как сидел за столом, без вещей и без денег. В дверях милиционер сказал мне, что лучше все же взять пальто, на случай, если придется долго ждать очереди. Я взял через руку пальто.

Калитка хлопнула, и мы пошли, мирно разговаривая. Переступив порог милиции на Логишинской улице, я, не зная того, переступил черту, которая разделяла два мира. Но уже через несколько минут я понял, что случилось нечто невероятное.

Я никогда в своей жизни не сидел в тюрьме. В момент ареста мне было тридцать девять лет. Я был отцом семейства, человеком материально и внутренне независимым, привыкшим к уважению окружающих, безусловно лояльным гражданином. Я никого не обидел, не преступил закона и был твердо убежден в своем праве на внимание и защиту со стороны учреждений каждого государства, кроме гитлеровского. В общем я оставался довольно наивным европейским интеллигентом даже после девятимесячных попыток вырваться из

липкой советской паутины, и я все еще чувствовал себя душой и сердцем гражданином прекрасной Европы с ее Парижем, Флоренцией и лазурными далями Средиземного моря.

За порогом дома на Логишинской я сразу перестал быть человеком. Этот переход совершился без всякой подготовки, так резко, точно я провалился среди бела дня в глубокую яму.

Из литературы и всяких описаний, из фильмов и рассказов я знал, как выглядит тюрьма, понимал, что меня задержат, произведут расследование, запрут на ключ. Но я совсем не был готов к тому, что произошло. В пустую комнату втолкнули нас — несколько десятков человек. Кругом шныряли люди в мундирах и с револьверами. Это не были те советские люди, которых мы знали до сих пор, — вежливые и обходительные. Во-первых, они говорили нам "ты". Во-вторых, они смеялись нам в лицо. Наше смущение страшно веселило их. Они наслаждались эффектом, который произвела на нас первая встреча с настоящей советской действительностью. В воздухе стоял густой мат, которого мы не слышали до сих пор. Мы думали, что матерщина вывелась в Советском Союзе. Оказалось, что эти люди мучительно ограничивали себя среди "посторонних", но здесь за стенами НКВД они были наконец у себя и могли не стесняться. И по тому, как они себя вели, я понял, что мы для них — уже не свидетели. Мы были для них — мертвые, списанные со счетов люди.

Нас впускали по несколько в комнату, где сидели молодые люди в галифе, в прекрасном настроении, для которых вся процедура была просто забавой. Среди гогота и прибауток они опорожнили мои карманы, отобрали вечное перо, документы, часы, обручальное кольцо. Кольца я никак не мог снять, оно уже много лет не сходило с пальца.

"Не сходит? — рассмеялся человек в галифе. — Давай сюда, мы живо снимем!" — и действительно, у этого ловкача кольцо само покатило с пальца. Я больше не увидел ни своих документов, ни кольца, ни часов. Все, что взяли, — отобрали навсегда.

– Раздевайся!

В мгновение ока я был раздет, поставлен на четвереньки, меня обследовали сзади и спереди, как закоренелого преступника, с проверкой заднего прохода, перетряхнули вещи, велели одеться, срезали пуговицы, отобрали пояс, быстро-быстро вывели во двор и погрузили на машину.

В полночь привезли нас в тюрьму НКВД. НКВД помещалось в конце Альбрехтовской, в здании бывших польских казарм. Загнали в крохотный чулан без окна и вентиляции. Всю ночь горел яркий свет, было невыносимо душно и жарко. Человек пятнадцать лежали вповалку на полу. Мы разделались донага, пот стекал с нас, мы стали задыхаться и стучать в дверь. Время от времени ее отворяли, чтобы вошло немного воздуха из коридора.

Мы промаялись всю ночь без сна. В полдень следующего дня нас перевели в камеру с нарами в два яруса. (В польские времена в этом подвале хранили картошку.) В камере был полумрак: одно квадратное отверстие почти под потолком. Мы лежали на голых досках вдоль четырех стен подвала, посреди располагались люди прямо на голом полу. Все без исключения — евреи. Маленький круглый человечек плакал непрерывно, как дитя: это был Бурко — фармацевт из городской аптеки, у которого я еще накануне покупал лекарство.

Неделю мы просидели в картофельных подвалах НКВД. Давали нам хлеб и суп, но не выпускали никуда, только в уборную в конце коридора. Люди были еще сыты с воли и под впечатлением ареста потеряли аппетит. К еде почти не притрагивались, оставалось много хлеба. Непрерывно просили пить, и день проходил в войне за воду, которой было очень мало. Вода давалась как премия за хорошее поведение. В камере была молодежь, взбудораженная, беспокойная, люди разговаривали, пели, стучали в дверь — за водой или за нуждой. Весь день кто-нибудь стоял под дверью и умолял пустить его в уборную. Наконец отворялась дверь; стражник, стоя на пороге и не входя (это запрещено уставом), осыпал злобной матерщиной арестантов и захлопывал дверь под носом у них. Кто-то сказал "товарищ". Огромный горилло-

подобный верзила рассвирепел: "Какой я тебе товарищ? Волк в лесу тебе товарищ, а не я!" Скоро нам объяснили, что обращение "товарищ" не допускается для арестованных и мы должны обращаться к начальству со словом "гражданин".

Наутро, когда вывели в отхожее место партию в шестнадцать человек, сразу обнаружилась разница между слабонервными интеллигентами и людьми "из народа". Были люди, которые в первый раз на виду у всех (одна круглая дыра на шестнадцать человек), понукаемые, в толпе, мучительно стыдились. Кто-то на загаженном склизком полу потерял сознание, его вынесли, надзиратели скверно ругались, кругом смеялись, за низенькими дверьми с засовами и замками шумели и барабанили кулаками запертые люди.

Начались ночные допросы. Раз вызванный уже не возвращался в камеру. Его переводили в другое место и через несколько часов забирали из камеры его вещи, если было что забрать. Мы все ждали с нетерпением своей очереди. Если эти "держиморды" обращались с нами как с преступниками, то это объяснялось тем, что они "не знают", "не разбираются". Что с них требовать? От беседы со следователем мы ждали выяснения — чего от нас хотят. Ведь мы не совершили никакого преступления.

Три-четыре дня прошло в ожидании. Поздно ночью вызвали меня из камеры. К тому времени я уже был очень грязен, лохмат, небрит и дик, как и полагается человеку, которого преследует государство. Мыла и воды для мытья, полотенца, гребня, подушки и тому подобных вещей у меня не было. Я очень остро почувствовал социальное неравенство, когда сел против меня молодой щеголеватый следователь НКВД, приглаженный, напомаженный, выспавшийся, с нашитым "мечом" на рукаве (знак работников судебно-политического аппарата НКВД).

Глубокая ночь. Второй этаж НКВД — другой мир. Внизу — погреба, набитые битком всклокоченными, перепуганными людьми. Наверху — чистые белые коридоры. Тишина. Зеленые абажуры на столах. В большой пустой комнате на столе следователя бутылка лимонада и рядом с ней — коробка папи-

рос. И то, и другое — волшебный сон. Лимонада нет в продаже, это, наверное, из внутреннего распределителя. У меня мучительная жажда, но этот лимонад — не для питья. Он так же недоступен и нереален, как родной дом и свобода.

Следователь предлагает мне папиросу. С того же начинался допрос и у других арестованных. Должно быть, так указано в "инструкции". Человек, который меня допрашивал, имел специальное образование — прошел школу следователей НКВД, — и эти допросы были его подробно и точно разработанной специальностью.

После того как была установлена "personalia" и факт моего высшего образования и работы в ОБЛОНО, следователь стал очень вежлив. Я сидел на стуле не у стола, а посреди комнаты. Я был полон любопытства: в чем будут меня обвинять и что будет говорить следователь. Но было бы преувеличением сказать, что в эту минуту я чувствовал себя находящимся перед настоящим следователем. За столом сидела советская юстиция с эмблемой "щита и меча" на рукаве. Перед столом сидел человек Запада, непроданный, свободный, и внимательно присматривался.

Вот это чувство независимости и неписаного права судить своего судью — и было моим настоящим преступлением. Но тогда ни я, ни мой следователь об этом не думали. Человек с эмблемой раздумывал, как ему повести допрос.

Очень умно поступил его коллега, который в ту же ночь в другой комнате допрашивал моего соседа, адвоката Н. (этот человек ныне живет в Израиле). Он ему сказал:

"Вы человек интеллигентный, сейчас начнете доказывать, что вы ни в чем не виноваты. Это все лишнее. Вы уже не выйдете на волю. Мы пошлем вас работать в Россию. Будете работать по специальности (в этом он солгал). Все это уже решено, и вы должны понять, что я ничего не могу изменить. Я только служащий. Мне не полагается это говорить, но я вам скажу открыто: допросы, протокол, ваша подпись — все это только формальность. Ничего не изменится от ваших ответов. Поэтому не делайте мне трудностей и подпишите вот эту бумажку".

Потом сотни русских людей в лагерях подтверждали мне одно и то же: "В НКВД не надо спорить и упираться — от этого только хуже".

Русский человек подписывает, что ему велят, — не глядя, не читая. И знает, что этим он себя уберезет от многих неприятностей. Он получит то, что ему положено. В противном случае ему еще прибавят.

Мое поведение на допросе было (с советской точки зрения) ошибкой, потому что я придавал слишком большое значение внешним формам. За дешевое удовольствие припереть моего собеседника к стенке, за словесное упорство я заплатил двумя лишними годами срока.

Я не понимал, что действительный суд надо мной и сотнями тысяч людей совершился и приговор уже вынесен. Мы все должны были получить по три или по пять лет. На этот суд нас не пустили, и нас не спрашивали. То, что происходило сейчас, было только комедией. Не надо было упираться, и мне бы тогда выписали три года вместо пяти. Но я принимал всерьез свою "защиту".

"Вы обвиняетесь в нарушении паспортного режима, — сказал мне следователь. — Вы проживаете на территории Советского Союза без документов".

"Как же так? Ведь у меня польский паспорт?"

"Паспорт несуществующего государства не есть паспорт. Мы не признаем Польши. Ваш польский паспорт не имеет для нас силы".

"До сих пор вы, однако, его признавали! Ведь я прописан в милиции города Пинска на основании этого паспорта!"

"Вот оттого мы вас и арестовали, — сказал следователь, с насмешкой глядя на меня, — что вы прописаны на основании этого паспорта! В Советском Союзе надо иметь паспорт советский".

"Как гражданин бывшего Польского государства, я не могу иметь советского паспорта, пока мне его не дали. Чем я виноват, что у меня именно польский документ? Ведь вы не требовали от меня ни переменить его, ни заменить на советский!"

"Я не говорю, что вы виноваты! — сказал следователь.— Вы-то не виноваты, но все-таки оказываетесь в противоречии с советским законом! По советскому закону вы обязаны иметь легальный документ!"

"Девять месяцев я нахожусь на территории освобожденных областей, и ни разу ни один представитель власти не сказал мне этого! Не можете ли вы мне сказать, когда именно, с какого дня я стал правонарушителем?"

"Не могу сказать, — следователь начал слегка раздражаться, — да и зачем вам это нужно? Сегодня — вы правонарушитель!"

"Вернее — с того дня, как меня арестовали! И что же мне полагается за "нарушение паспортного режима?"

"О, пустяки! — сказал следователь. — Годик".

Волосы у меня стали дыбом:

"Вы смеетесь надо мной? Год тюрьмы — за что?"

"Год, это максимум! — сказал следователь успокаивающе, и в глазах у него забегали веселые искорки. — Может, меньше дадут!"

Допрашивая меня, он одновременно записывал мои ответы. Однако в протокол из нашего разговора попало немного. Отмечена была история и даты моего бегства из Лодзи, наличие у меня родственников за границей, потом следовал вопрос:

"Почему не желаете жить в Советском Союзе?"

"Потому что желаю жить в Палестине. Там у меня семья, и там место моего постоянного жительства. Оттуда я приехал в Польшу на короткое время и туда желаю вернуться. А в Советском Союзе я никогда не жил, и странно было бы, если бы я захотел здесь жить только потому, что случайно здесь оказался как беженец. Я здесь чужой".

Около часа я убеждал следователя, что мое нежелание оставаться в Советском Союзе еще не означает враждебных чувств к этой стране.

"А в Лодзь зачем записались? Там ведь немцы".

"В Лодзи меня застала война, и не всегда там будут немцы, и туда я имею право вернуться — сейчас или после войны.

Через Лодзь идет дорога в Палестину. А раз там немцы, я охотно поеду в Палестину через Одессу".

"Значит, оставаться у нас не хотите?"

"Нет, не хочу".

Следователь записал коротко:

"Не желает жить в Советском Союзе, имея семью за границей". Наконец в протокол было внесено:

"Признаете ли себя виновным в том, что являетесь беженцем, проживаете в Советском Союзе нелегально и имеете намерение выехать за границу?"

Я остолбенел. Из предыдущих вопросов и ответов никакой моей ВИНЫ не вытекало. Признать себя виновным — в чем?

"Нет, не признаю!"

Мой собеседник посмотрел на меня взглядом, не сулившим ничего хорошего.

"Что же нам, начинать сначала?"

"Поймите, что я такой постановки вопроса не могу принять!" Что же это за выезд "за границу"? Это для вас заграница, а не для меня. Для меня заграница именно здесь, в советской Белорусской республике, в городе Пинске! Польша для меня не заграница, раз у меня польское гражданство. Палестина для меня не заграница, раз я еврей и жил там до войны".

Следователь вскочил и подошел к боковой двери. Позвал кого-то. В комнату вошел высокий черномазый мужчина.

"Сил нет, — угрюмо сказал следователь. — Семь потов сошло. Крутит, вертит, и не ухватишь его. Зловредный какой-то".

"Что, адвокат? — сказал черномазый. — Не иначе, как ПАН адвокат".

"Нет, я не адвокат, — сказал я, — но надо же мне защищаться, когда меня обвиняют черт знает в чем — в том, что я беженец. Я не адвокат, а доктор философии".

Угрожающая мина черномазого расплылась в удивлении.

"Вот оно что! — сказал он. — Докторов философии мы тут не видали еще. Так вы, значит, и диамат знаете?"

Я подтвердил, что диамат мне известен, как свои пять пальцев.

"Кто такой Розенталь, знаете?"

Розенталь был тот "спец", который в "Правде" время от времени помещал так называемые "консультации" для широкой публики по вопросам диалектического материализма. Это была, очевидно, вершина премудрости в глазах черномазого.

Разговор принял несколько фантастическое направление. Мы мирно говорили о Розентале, о Деборине, о Лукаче и о тех ленинских академиках, которые теперь выпали из моей памяти, ослабленной годами советской каторги. Черномазый был просто взволнован, когда узнал, что я даже Луппола читал в немецком переводе.

"Нет, — сказал он, — такой человек нам нужен. Вы поедете в Россию на работу. Там уж найдут для вас применение".

"Зачем же в Россию? — сказал я. — Ведь я палестинец, у меня там и семья, и работа."

"В Палестину мы вас не пустим, — сказал философ из НКВД. — Про Палестину забудьте. Это прошло. А за жену не беспокойтесь. Она себе другого найдет".

Голова у меня шла кругом. Все это было как дурной сон, когда никак нельзя проснуться. Допрос шел уже часа четыре.

Наконец я подписал:

"Признаю, что являюсь беженцем, не имею документов, кроме отобранных при аресте, хочу выехать из пределов Советского Союза, но вины своей не признаю, так как не вижу в указанных фактах никакого состава преступления".

"Имеете ли еще что-либо привести в свою защиту?"

Я чувствовал, что предо мной стена, что надо привести в свою защиту какие-то особенные слова, чтобы эти люди поняли то, что мне так ясно: что все мое "дело" есть чепуха от начала до конца, невероятный вздор. Но я не находил никаких слов больше.

"Ничего".

Я подписал "ничего" и спохватился, что мне надо еще что-то указать: сертификат палестинского правительства... и прочее, и прочее.

"Ну нет! — сказал следователь. — Раз подписал — крышка. Больше ничего не дам дописывать".

И прибавил:

"На суде сможете договорить, что сюда не вошло".

Он знал очень хорошо, что никакого суда не будет и протокол является окончательным.

Серело уже в коридоре, когда он сдал меня конвойному. Я попросил пить. Он велел проводить меня к крану. Я пил жадно из цинковой кружки, закрыв глаза, с горящей головой, где как гвоздь засело:

"Домой мы вас не пустим... Жена найдет другого..."

Меня отвели в другую камеру. Это была узкая клетка, где помещалось 16 человек на двухъярусных нарах.

Весь следующий день я пролежал неподвижно, ошеломленный. То, что меня ошеломило, было не известие о том, что мне отрезана дорога домой. Этому я не верил. Этому я себе просто не мог представить. Поразила меня циничная подлость этого ночного допроса. За девять месяцев я привык к фасаду советского здания, теперь я за ним увидел — пещеру разбойников. Первое впечатление было — шок. Мне было стыдно. Чувство мучительного, глубокого стыда за человека росло во мне с первой минуты, когда я переступил порог того учреждения, которое в Советском Союзе является центральным — и этот жгучий стыд терзал меня до тех пор, пока через много дней не выгорел весь — до холодной зоны и не родилась во мне спокойная ненависть к людям, обманывающим весь мир.

В новой камере были поляки. Это были старые жильцы, они находились в заключении уже полгода. Против меня лежал 16-летний мальчик с мертвенным бескровным лицом. Он казался оглушенным. Меня не били ни до того, ни после, но этих людей били. Рядом со мной лежал старый еврей Ниренштейн — один из самых кротких и бесстрашных людей,

каких мне довелось встретить в лагерях. Этот человек был полон религиозной веры и беспричинного оптимизма. Он в самом деле верил в Бога, то есть верил в то, что чудо может случиться каждую минуту. У него было удивительное и, может быть, заслуженное чувство своего морального превосходства перед другими людьми, полными страха и не понимающими, что ничто не страшно. Я очень хотел быть таким, как Ниренштейн.

Больше всего я боялся быть оторванным от всех — и забытым всеми. Чтобы напомнить себе, что я не один, я вынул фотографию своего сына, снимки из дому. Я показывал их соседям и рассказывал Ниренштейну, как люди живут в Палестине.

Дня через три вывели нас обоих во двор. Там уже собралась большая группа арестантов. Это был обширный двор, заросший травой, как бывает в провинции, куры копались в горячем песке, молодуха — с кухни, наверно, — шла с ведром, в конце двора возились рабочие у амбара. Был конец июня — жаркое солнечное утро.

Грузовик въехал во двор. Скомандовали садиться. Велели лечь плашмя, подняли с трех сторон зеленые борта грузовика. Сверху сел конвоир с ружьем. Грузовик развернулся и выехал на булыжную мостовую улицы. Мы поехали.

Лежа, я думал, как часто за последние месяцы я видел в Пинске на улице такой пустой грузовик, громыхающий по камням, и человека, с безразличным видом сидящего в углу с ружьем. Значит, и тогда эти грузовики были полны лежащими на дне людьми, скорчившимися, чтобы их никто не видел из прохожих. Может быть, сейчас идут мимо люди, которых я знал, и меня от них спрятали. Эта власть прятала то, что она делала, за зелеными бортами грузовика. Это был обман. Люди на воле не знали, что они были окружены — и так близко — арестантами, пленниками, которым нельзя поднять головы.

И я, лежа, давал себе слово, что зеленый борт этой машины я когда-нибудь опишу — и так, чтобы весь мир увидел, что за ним кроется.

Лежа на дне грузовика, я по поворотам машины угадывал, по каким улицам нас везут.

Нас привезли в пинскую тюрьму и развели по камерам. В нашу — еще пустую — ввели нас человек десять. Мы обрадовались, что так много места, и расположились удобно между окон: у стены против входа. Но через полчаса отворилась дверь, и в помещение ввалилась толпа. Сразу стало тесно и душно. Еще через полчаса подбросили новую партию арестантов. Тут уж стало не до шуток. Комната имела метров семь в длину и пять в ширину. Побеленные стены, два окна с решеткой, деревянный разошедшийся пол, параша у двери, бочонок с водой в углу и посреди — подобие стола. Это было все. На полу расположилось человек семьдесят пять. Днем мы с трудом размещались сидя, но ночью площади пола не хватало, чтобы всем вытянуться, и люди ложились буквально друг на друга. Спали на столе, под столом, сидя, полулежа, в самом фантастическом переплетенье ног, рук, голов, колен и спин. Люди, не нашедшие себе места в начале вечера и прикорнувшие на корточках, позже, когда сон разравнивал это человеческое месиво, падали, как второй слой, сверху, куда придется. Проснувшись ночью, человек не сразу соображал, на чьем животе лежит и кто ему придавил ноги. Начиналась яростная ссора, когда чья-то грязная пятка упиралась в лицо спящего и будила его. Хриплые ругательства тонули в протестах соседей. Наконец водворялось "молчание", полное храпа, тяжелого дыхания, бормотания, сонных вскриков. Кто-то вставал и шел по головам и рукам к параше. Люди кишели, а на них кишели вши и ползали клопы. Казенного белья нам не давали, а своего мы не имели, кроме того, что на теле. Передачи с воли не допускались — до конца следствия. Июльская жара заставила нас раздеться донага — до кальсон, подвернутых выше колен. Камера напоминала предбанник. С утра люди, которым удалось отвоевать таз и немного воды, стирали свои рубахи. Тяжелый и кислый дух стоял в камере — от него у свежего человека спирало дыхание.

Население камеры было исключительно еврейское. Люди всех поколений, классов, возрастов, начиная от пятнадцати-

летних детей, виновных в том, что они записались на возвращение к своим родителям до стариков старше семидесяти лет. Большинство — молодежь: парикмахеры, кельнеры, портные, банковские служащие, учителя, бухгалтеры, пролетаризированная беженская масса. В камере находился, к моему удовольствию, победитель пинского областного шахматного турнира. Из хлеба изготовили шашки и шахматы, мелом начертили на полу шахматные доски, и полдня проходило у меня в том, что, лежа на полу, я передвигал фигурки. Видно, что мы еще не были по-настоящему голодны: год спустя такие шахматы уже не из чего было бы сделать — их бы съели в мгновение ока.

Мои соседи по полу были братья Кунины, два бухгалтера, а до того купцы (оба погибли в советской неволе), фармацевт Бурко, о котором я уже вспоминал (у него тем временем высохли слезы, и он примирился со своей судьбой), молодой варшавянин Арие Бараб, распевавший веселые куплеты о еврейских дачниках на Отвоцкой линии, и, к немалому моему удовольствию, — Давид, член моей библиотечной бригады.

Конечно, я предпочел бы, чтобы его не арестовали, но, поскольку он тоже подлежал ликвидации, было очень хорошо, что он попал именно в мою камеру. Давид был арестован через неделю после меня, и от него я узнал, что делалось в городе за эту неделю.

Арест почти тысячи человек дезорганизовал хозяйство и культуру, оставил предприятия без руководителей, учеников без учителей. Жители были подавлены и напуганы. Такой массовой расправы не было с марта, когда чистке подверглось местное население и еврейский политический актив.

Но самое большое впечатление произвел мой арест на старого доктора Марголина. Отец мой, которому тогда исполнилось 80 лет, уже не выходил из дому. Это был человек своеобразный, не поддававшийся влияниям и обо всем имевший собственное мнение. Это был самый строгий, самый непреклонный критик моих писаний. Издалека он следил

за моей деятельностью в литературно-политической области, и время от времени я получал от него строжайший разнос, но доходили слухи, что он не отказывает мне в некоторых способностях. Очень его поразило, что я в первые же дни по занятии Пинска большевиками собрал и предал уничтожению все находившиеся под рукой экземпляры моей книги о сионизме. Старик глубоко и по-детски опечалился. "Вот до чего ты дожил!" — сказал он мне с горечью. После моего исчезновения он впал в глубокую задумчивость. Дня три подождал — и в одно прекрасное утро тихонько оделся, и, не говоря ни слова, вышел на улицу. Место моего заключения было недалеко от нашего дома. Соседи из окон видели, как тихо брел по тротуару, опираясь на палку, маленький белый старичок. "Куда это пошел старый доктор Марголин?" Он подошел к массивным запертым воротам во двор НКВД. Это он выбрался поговорить с начальником НКВД и объяснить ему, что я человек хороший и меня не надо держать в тюрьме. На фоне больших железных ворот он был совсем маленький. Из окон домишек смотрели десятки глаз на странное поведение д-ра Марголина: старичок поднял палку и постучал в ворота. Никто не услышал этого стука. Он подождал и постучал еще. Долго стоял он, понурился голову, и ждал... слушал. И наконец тихонько вздохнул и пошел обратно. И дома никому не сказал, куда и зачем ходил.

Никто, конечно, не мог услышать, что он вздохнул. Но когда из уст Давида я узнал о последней прогулке моего отца — мне показалось, что я услышал этот вздох.

День в пинской тюрьме начинался рано — то с раздачи пищи, то с выхода в уборную. Когда начинал лязгать дверной засов, люди бросались толпой к выходу, одинаково готовые принять хлеб или выйти в коридор. Все, кому надо или не надо, выходили, так как в уборную выпускали только партиями, раз или два в день. Уборная была центром обмена новостями: стены ее были покрыты надписями и сообщениями, которые таким образом передавались из камеры в камеру. Там были семейные новости, переписка друзей, тюремная лирика и деловая информация: "Миша

Рапопорт сидит в 4-й", — "Стефан, отзовись! Шимек." — "Пришлите покурить, Фридман". — "Мама здорова, держись, Витек!" Каждые несколько дней надписи стирались, и наутро начинались новые диалоги. Кроме того, имелся и "почтовый ящик": в одном месте под доской сиденья была расщелина, куда всовывали записки, посылаемые из камеры в камеру.

На завтрак мы получали хлеб и сахарный песок, который делили спичечной коробкой. Люди съедали хлеб, посыпанный сахаром, а некоторые оставляли себе кусочек хлеба к обеду, который состоял из супа. Во втором или третьем часу подъезжал к двери возок с котлом, и стряпуха черпаком наливала суп в алюминиевые мисочки. Эта замечательная посуда осталась еще от польских времен, но ложек у нас не было. Мы садились вдоль стен, поджав ноги, и пили, обжигаясь, потом пальцами добывали брюкву или картошку, а тем временем нас подгоняли те, кому миски доставались во вторую очередь. Арестантский суп был очень плох и не похож на домашний. Однако к тому времени мы все уже были достаточно голодны, а суп был единственной горячей пищей. Один из парнишек в камере пустился на хитрость: съев три четверти супа, доливал водой, ловил несколько мух, бросал их в миску и подымал скандал. Раза два удалось ему получить новую порцию супа, пока не разгадали трюк. Видно, что пинская тюрьма была в 1940 году культурным учреждением. В советском лагере человек, который бы поднял шум из-за мухи, только насмешил бы людей.

Часов в одиннадцать выводили нас на прогулку. По этому поводу надевались штаны, и человек двадцать-тридцать строились в коридоре. Небольшой дворик был обнесен высокой стеной. Двое надзирателей становились сбоку, и мы гуськом или парами дефилировали по кругу, заложив руки за спину. "Не разговаривать! Тебе говорят, долгогривый!" Проходя мимо них, мы смолкали, а потом опять начиналось жужжание. Солнце светило, воробьи чирикали. Некоторые сокамерники были до того слабы, что уже не могли двигаться, и с разрешения сторожей отходили в сторону и садились на песок.

Время от времени происходил медицинский прием.

В коридоре ставили столик с бинтами и лекарствами. Сестра по очереди вызывала людей с жалобами. В камере были случаи высокой температуры, лежали люди в бреду и горячке, но никого не взяли в больницу. "Ничего, — говорил надзиратель, заглядывая через дверь, — не помрет". На мое несчастье, я заболел воспалением среднего уха и провел несколько кошмарных дней. Не знаю, что привело меня в большее бешенство — невыносимые боли или то, что меня оставили без всякой помощи. Сестра ничем не могла помочь, обвязала мне голову и обещала записать к врачу. У меня был еще нарыв на руке выше локтя. Полкамеры имело нарывы и опухоли. Сестра не жалела нам ихтиолу, но в серьезных случаях была бессильна. Через несколько дней позвали меня к врачу. Это был пинчанин, так напуганный присутствием представителя НКВД на приеме, что боялся смотреть нам в глаза и говорить с нами. У него не было ни ушного зеркала, ни других инструментов, и он тоже ничем не мог мне помочь. Единственный ушник в городе был д-р П., мой хороший знакомый, и я очень рассчитывал на встречу с ним, но, конечно, это была наивная надежда. Впервые в жизни я перенес болезнь без медицинской помощи, и она прошла сама собой, но ослабление слуха осталось у меня надолго.

Сестра, молоденькая девушка-пинчанка, смотрела со слезами на обросших, полунагих, голодных и покрытых ранами арестантов, которых надзиратели выгоняли в коридор, как зверей из клетки. Арестанты из других камер, которых мы встречали по дороге, должны были при нашем появлении отворачиваться лицом к стене и не имели права смотреть на нас. Мы шли среди рядов людей, стоявших носом к стенке. Никто не мог бы узнать в нас людей, недавно ходивших по улицам города. Через неделю мы узнали, что сестра отказалась от работы в тюрьме.

Мы были покрыты полчищами вшей. С утра, съев хлеб, мы садились на корточки и приступали к так называемому "чтению последних известий", то есть избиению вшей. Искусанные тела, покрытые краснотой и нарывами, гноились, зеленая мазь погаными пятнами выделялась на нездоровой

свинцовой серости кожи, а на рубашках кишели вши всех величин и цветов: вши бурые, коричневые, черные и прозрачно-белые, брюнетки и блондинки, мощные супоросые вши, от которых под ногтем брызгало кровью, какие-то ярко-красные живые точки, которые при малейшем прикосновении смазывались в пятно — неожиданное и неведомое обилие родов и разновидностей... На семьдесят пять человек — семьдесят пять тысяч вшей... Их не надо было искать: они сами ползли под руку, мы их обирали с хлеба и с лица, с ворота и с подушки соседа и давили их с таким мрачным удовлетворением, точно это были наши тюремщики.

За шесть недель, которые мы провели в тюрьме, нас несколько раз сводили в баню, и это было каждый раз большим событием. Баня в пинской тюрьме была оборудована еще поляками и состояла из помещения с горячими душами, человек на пятнадцать. Воду пускали минут на пять, после чего мы на мокрое тело одевали прежнее белье и через тюремный двор шествовали в камеру, где и сохли. Выстиранные под душем рубашки развешивали над головой, голые тела дымились, и камера наполнялась испарениями.

Люди теснились к окну, но это было запрещено, часовые гнали от окон. За окном был высокий забор с колючей проволокой сверху, и над ним кусок синего неба: все, что осталось от лета. Мы были отрезаны не только от природы и людей, но и от всяких известий о внешнем мире. Мировая война для нас кончилась.

Чем занимались семьдесят пять человек, сидевших на дне глубокой ямы в советской тюрьме? У нас не было подавленного настроения. Шок первых дней прошел. Мы находились в состоянии великого изумления и какого-то насмешливого вызова. Скандальная нелепость примененной к нам процедуры в первую очередь занимала нас. Мы чувствовали себя не преступниками, а жертвами идиотского произвола. Все рассказывали, как кого взяли и как допрашивали. Тут было большое разнообразие. Не всех допрашивали так утонченно-культурно, как меня. К молодым евреям, плохо понимавшим по-русски, применяли метод застрашивания и угроз. Боль-

шинство их нелегально перешли границу с польской стороны, спасаясь от гестапо. Таким говорили без церемонии:

"Ты немецкий шпион... твою мать!"

"Да я не был никогда, гражданин-товарищ, в Германии! Я их, немцев, не знаю совсем!"

"А где ж ты был? В Румынии был?"

"В Румынии был..."

"Вот и отлично: запишем как румынского шпиона!"

Находились пареньки, которые сразу признавались во всех видах шпионажа и тут же спрашивали, не надо ли еще в чем признаться? Следователь махал рукой, видя такую готовность, и давал протокол для подписи. Тут некоторые упирались: читать не умеем, ничего не понимаем и подписывать не будем! Их ругали, били, таскали каждую ночь на допрос и сажали в карцер. Кончалось тем, что они подписывали.

Все были озадачены; зачем это нужно советской власти? Шпионов и агентов не могло быть именно в нашей среде. Такие люди, конечно, все имели советские паспорта или записались в советское подданство. При всем презрении к комедии следствия люди в камере не чувствовали вины перед советским государством и не понимали, зачем надо делать из них преступников.

Два этажа тюрьмы были заполнены арестованными беженцами. Женщины сидели отдельно. Все арестованные были одиночки. Что же сделали с семьями? В Пинске было много беженских семей с детьми, которые зарегистрировались на возвращение. Эти семьи получили приказ подготовиться к выселению в глубь России. Их не арестовывали, не допрашивали и не обвиняли ни в нарушении паспортных правил, ни в шпионаже, ни в нелегальном переходе границы. Среди них не искали правонарушителей. Мысль о том, что каждый из нас избегнул бы тюрьмы, если б имел жену и ребенка, очень нас ободряла и заставляла верить, что в дальнейшем, в русской ссылке, условия жизни семейных и несемейных сравниваются.

Неделя шла за неделей, и ничего не изменялось в нашем положении. Когда актуальные и политические темы были исчерпаны, разговоры приняли другое направление. Люди

были возбуждены жарой и ничегонеделанием. От тюремной камеры до казармы недалеко. Поток анекдотов пролился на нас. Остряки и рассказчики выступали вперед. В течение нескольких дней я выслушал больше похабных анекдотов, чем за всю свою жизнь. Каждая непристойность вызывала взрыв смеха. Как только смолкал один рассказчик с мохнатой грудью и в подвернутых кальсонах, немедленно начинал другой. Через пару дней этот массовый бред выдохся. Тогда наступила очередь "кабаре". Так называлась импровизированная программа увеселений, в которой принимал участие каждый, имевший какой-нибудь талант. У нас оказались юмористы, певцы, мимы, сказочники. Перед тем как улечься на ночь, камера часа два развлекалась таким образом.

Как только подымался шум, отворялась дверь, и на пороге появлялся дежурный надзиратель. В наказание за шум нам закрывали ставнями окна в камере. Воздуха и так не хватало. Через полчаса пребывания в герметически-закупоренном помещении наступала мертвая тишина и переговоры о капитуляции. Особенно упорных нарушителей дисциплины выводили на несколько часов. Но никакими средствами не удавалось надолго водворить тишину. Когда истощался репертуар кабаретистов, начиналось хоровое пение. Все мы без исключения, с голосом и без голоса, пели песни — еврейские, и польские, и советские про "тучи над городом" — и в этих упрямых песнях была наша свобода и строптивость перед лицом врага. Люди в коридоре были нашими врагами. Поведение власти могло быть еще "недоразумением", "ошибкой", но относительно людей в коридоре сомнений не было: это была порода цепных псов, дрессированных для охоты на людей, хорошо известный евреям тип "голема", тупого служителя насилия.

"Распелись! — кричал дежурный. — Вот я вас проучу сейчас! И чего им весело, я не понимаю! Им плакать надо, а они песни поют!"

С наименьшим рвением играли в известную игру, называемую не совсем прилично. Мы, шахматисты, люди интеллигентные и в очках, не принимали в ней участия, но были невольными зрителями. Игра заключалась в том, что одному из

участников завязывали глаза и он подставлял тыльную часть тела. Окружающие его лупили, а он угадывал, кто ударил. Если угадывал верно, то ударивший ложился на его место. Эта малоутонченная игра доставляла участникам детское и полное удовольствие.

Здоровые парни, которые точно вышли из кузнечной мастерской или из-за прилавка мясника, стояли плотно сгрудившись. Оскаленные зубы, сверкающие белки глаз, ухмыляющиеся физиономии и разинутые до ушей рты — все выражало самую примитивную дикость. В эту минуту не было большой разницы между ними и казацко-татарскими лицами охранников НКВД, которые нас стерегли в тюрьме. Надо было видеть свирепое оживление и радость предвкушения, когда человек подкрадывается с занесенной рукой, тряся ладонью, прицеливаясь, а когда раздавался оглушительно-звонкий удар, точно петарда взорвалась в камере, — у зрителей вырывалось "ух", и какие-то электрические заряды рассыпались от них во все стороны. В зародыше здесь была потенция всякого мучительства и убийства. Эти лесные орангутанги, однако, принадлежали к старейшему и культурнейшему народу мира. Здесь демонстрировалась двусмысленность так называемой "энергии масс" — той энергии масс, из которой вырастают освободительные движения и революции наравне с программами СС и подвигами советской Госбезопасности.

В первые дни тюремного сидения разрешили нам написать заявления на имя начальника тюрьмы. Нам раздали клочки оберточной бумаги, карандаш на камеру, и мы сообщили начальнику тюрьмы о тех суммах, которые нам следовало по месту службы, о вещах, которые остались на наших квартирах и которые мы просили переслать нам. Я также через посредство начальства просил мою мать прислать мне необходимые вещи и сообщил ей, что в одной из книг, оставшихся в моей комнате, она найдет для себя деньги. Однако это письмо не было ей передано. Мы не получили права свидания со своими родными и близкими, которых нам уже не было суждено более увидеть.

Зато в половине июля начальство разрешило передачи. Уровень нашей жизни сразу поднялся. Мы получили одеяла, белье, костюмы, полотенца, мыло, даже пижамы, получили кружки, миски, еду — мы стали богаты, и те, кому нечего было ждать, имели свою долю в наших богатствах. В камере появилось масло, колбаса, яйца и огурцы. Все это мы не берегли и сразу съели. Мы не знали, что разрешение на передачи означало, что мы скоро уезжаем. Посылки были нам на дорогу. Приближался день отъезда.

Прежде чем отправить по назначению, тюремные власти сфотографировали всех арестованных и взяли у нас отпечатки пальцев. Материал этот пошел в Центральный Архив НКВД вместе с нашими "делами". Вероятно, он до сих пор еще сохраняется в Москве. Не помню, при какой okazji я видел свою фотографию. Это было кошмарное произведение не только с технической, но и с человеческой точки зрения, и я себя не узнал в нем: шесть недель советской тюрьмы вытравили все черты благообразия и интеллигентности — со снимка смотрела угрюмая, испитая, заросшая и преступная рожа профессионального убийцы с синими кругами у вытарщенных глаз (очки мне велели снять) и распухшими толстыми губами. Такому человеку нельзя было дать меньше пяти лет принудительного труда.

7. КОЧУЮЩИЙ ГРОБ

На рассвете 28 июля 1940 года был дан сигнал по двум этажам пинской тюрьмы: "Выходить с вещами".

Сборы продолжались недолго. Нас вывели на тюремный двор. Велели сесть на землю под забором. Среди двора стоял стол, за ним заседала комиссия. По-одному вызывали к столу, отмечали, записывали. Каждый раздевался донага. Надзиратель тщательно пересматривал одежду, вытряхивал из мешка вещи, отбирал запрещенное: металлические кружки, миски, ножики. После обыска люди одевались и переходили

на другую сторону. Когда прошла вся партия, нас повели к грузовику. Мы свернули в боковую улицу и поехали к вокзалу.

За городом в поле, вдали от любопытных глаз и шума, стоял товарный состав. Люди с винтовками с примкнутыми штыками оцепили поезд. Суета и давка — как на перроне. Конвойные торопили нас. Грузовик повернул обратно — за следующей партией бесплатных пассажиров. Солнце стояло высоко. Я и Давид пошли к ближайшему вагону. Вдруг мы услышали крики из соседнего вагона: "Сюда, сюда!" Высунувшись в дверь, махали нам братья Кунины, за ними маленький Бурко и другие сидельцы картофельного подвала. Мы поднялись по насыпи и влезли в вагон, который должен был стать нашим домом на ближайшие дни.

Эшелон состоял из десяти вагонов. В каждом помещалось человек семьдесят. Посреди вагона — пустое пространство. Слева и справа — сплошные нары в два этажа. С двух сторон по крошечному окошечку, забранному решеткой. Против входа по другой стороне была пробита дыра под стенкой, и в нее вставлено деревянное корыто из двух досок, выходившее наружу. Это было вместо "параши".

Мы залезли наверх. Я лег в углу, за мной — Давид, мой верный товарищ и друг. Следом — доктор Мовшович, хуленький, небольшой брюнетик. Большинство в вагоне были люди новые, незнакомые.

В поезде было около семисот человек. В тот день "разгрузили" пинскую тюрьму — очистили место для других. Трудно подсчитать, сколько выслали до нас и после нас. Из нашей камеры вывезли не всех. Был один человек, которого подозревали, что он посажен шпионить: его не было с нами теперь, начальство в последнюю минуту оставило его. Не было и наших "детей" — двух пятнадцатилетних мальчиков, — и старика, который, очевидно, не имел сил на дорогу. Мы увидели в этом проявление гуманности: детям место в школе, старику — в богадельне. Мы были очень довольны, что их оставили, но, приехав на место, нашли в советских лагерях и стариков, и детей.

Всех интересовало, едут ли с нами женщины. У многих были арестованы сестры и родственницы. В нашем эшелоне было немного женщин — их погрузили в отдельный вагон.

Если принять во внимание, что семейные с детьми были отправлены отдельно, то общее число беженцев, высланных из Пинска и его окрестностей, можно оценить в полторы-две тысячи. По всей же Западной Украине и Белоруссии число беженцев, вывезенных в лагеря и ссылку летом сорокового года, было, вероятно, около полумиллиона. Если прибавить к беженцам местное население — поляков, белорусов, украинцев и евреев, вывезенных по политическим мотивам, — то эта цифра подымется до полутора-двух миллионов.

Люди, которые производили эту "операцию", не предполагали, что когда-нибудь придется держать ответ перед общественным мнением мира и что многие из вывозимых вернуться в Европу. Им казалось, что можно поступить с нами, как со своим собственным населением.

Заскрипела деревянная заслонка, и вход в вагон был задвинут. Нас заперли. Стало темно. Свет падал через квадратные окошечки на верхние нары. На нижних было темно, как ночью. Туда дневной свет проникал только через щели в стенках вагона. Снаружи мы слышали беготню, переключку, окрики часовых.

Вдруг отодвинули дверь вагона, и рука снизу подала ведро воды. "Берегите воду, — сказал грубый голос, — сегодня больше не дадим". В вагоне жужжали голоса, люди тихо переговаривались, выкладывали одеяла, ложились, кто-то вздыхал по-стариковски тоскливо. В противоположном конце вагона началась драка, соседи разнимали сцепившихся.

И постепенно поезд замолк, точно вымерли все.

Проходил час за часом. Люди заснули. Заснул и я.

Мы не слышали, как тронулся поезд. Это было ночью. Вдруг от резкого толчка я проснулся. Вагон подбрасывало, стенки мерно дребезжали — поезд шел. Как долго мы уже были в пути — полчаса или много часов? — куда нас везли, что нас ждало? — не было ответа.

Во мраке вздыхал человеческий груз. Давид спал, раскинув руки. Я повернулся на бок, натянул на голову одеяло.

Но спать не дали.

...Поезд стал сразу. Дверь вагона отодвинулась. Блеснул фонарь, острое штыка, и двое охранников вскочили к спящим людям.

"Подымайся!"

Ночная проверка. Всех нас, полуодетых, перегнали в один угол вагона. Там мы сгрудились как стадо, заспанные, ежась от ночного холода. В раскрытой двери горели звезды на черном небе. Охранник нырнул под нижние нары, проверил, все ли сошли сверху, стал посреди и начал прогонять по одному людей перед собой. Его товарищ держал фонарь. Молодые безусые лица, полные напряжения. Не ошибиться. Тени метались по стене вагона.

"Один-два-три..." — считал, по-северному выговаривая "о", старательно отчеканивая слова, и каждого касался пальцем, для большей уверенности. Люди быстро сыпались мимо, как в песочных часах, через освещенную фонарем полосу и пропадали в тень.

"... семьдесят... семьдесят один... семьдесят два...". Пересчитал, прыгнул с вагона, и нас снова закрыли.

Ночь была тревожная. Как только поезд тронулся, началось неистовое гроыхание по крышам. Нас сторожили сверху. Стражники топали по крышам вагонов, от паровоза к хвосту поезда и обратно, без перерыва. Прошло часа два. Мы снова спали.

"Подымайся!"

Вторая проверка! И уже считают. Соседи растолкали меня. На этот раз я крепко заснул. "Живей давай!" И снова раскрыта дверь в ночь, и в свете фонаря мечутся люди, пока я торопливо обуваюсь. Босыми ногами по полу нельзя — он весь заплыван и загажен. "Живей давай!" Арестанты ворчат. "Днем отоспитесь!"

На рассвете считали нас в третий раз. Это была трудная, бестолковая ночь.

"Дело плохо, — сказал Давид. — Раз так берегут — значит, везут в дурное место. Боятся, чтобы не сбежали. А куда бежать отсюда? Ведь это гроб на колесах".

Утром второго дня начала у нас организовываться жизнь в гробу. Мы выбрали старосту, который отвечал за порядок в вагоне и раздачу хлеба. Начали осматриваться и знакомиться, в вагоне на 70 человек было двое-трое поляков. Против меня лежал сельский учитель Карп. Это был человек коротенький, с острой бороденкой и видом затравленной мыши. В глазах его было выражение ужаса и непонимания, и он производил впечатление ненормального. Весь этот вагон с евреями казался ему, вероятно, чудовищным сном. Он лежал не подымаясь целыми днями, жадно съедал, что ему давали, и на каждый окрик озирался, дрожа всем телом.

С другой стороны вагона расположилась группа молодежи, которая себя называла "Театр Молодых". Это были молодые еврейские артисты варшавского "Teatru Mlodych", ученики студии Вайхерта, которые тоже попали в общую кашу. Вожаком у них был Воловчик, человек, сменивший портняжную иглу на подмостки театра. В Варшаве их театр был авангардным, ставил советских авторов и Бергельсона. Советская власть предложила им играть... по-белорусски, а когда они отказались, арестовала их... за нарушение паспортных правил. На станциях, где останавливался наш поезд, среди населения расходилась весть, что "везут евреев", и толпа собиралась у вагонов, но часовые никого не подпускали близко. В Барановичах были попытки передать нам еду, но конвой не допустил до нас передач. Нас отвели в сторону, и мы стали против пассажирского поезда. Через окошечко было видно, что делается в его купе. И вдруг Воловчик побледнел и замахал в окно руками:

Прямо против нас за окном пассажирского поезда стоял человек, смотрел на нас, не отводя глаз, и плакал. Он ничего не говорил. Слезы неудержимо катились по его щекам. Артисты "Театра Молодых" кивали ему и смеялись, а он плакал, глядя на них, как будто навеки с ними прощался.

Это был Камень — один из лучших еврейских артистов довоенной Польши, столп "Виленской Труппы", которого мне не раз довелось видеть на сцене. Таким образом, Волов-

чик и его товарищи попрощались с ним из окна в окно на станции Барановичи по дороге в Россию.

В самом начале дороги произвели в вагоне тщательный обыск, перевернули и перещупали все и отобрали не только посуду, которая была запрещена, но и книги. Кто-то пронес в вагон польские и русские книжки, и мы на них очень рассчитывали. Отобранные книги без церемонии выбросили в грязь под колеса вагона. У д-ра Мовшовича отобрали два термометра. Не помогли протесты. Термометры тут же на месте разбились. Можно было подумать, что в местах, куда нас везут, термометров сколько угодно.

Кочующий гроб шел на восток, в Евразию, в глубь чужого континента.

Мы не знали, что нас ждет. Наши европейские понятия были, очевидно, неприменимы к этим людям — к тому, что они называли судом, культурой, порядком и справедливостью. Во всем, что нас окружало, была двусмысленность, двуликость, недоговоренность. Куда нас везли? Не было ответа. Кто были настоящие преступники? Мы или те, кто нас вез? И что нас ждало? Ссылка, поселение, колхозное житье? Условия переезда были нечеловеческие. Но и здесь соблюдалась форма, все честь-честью: каждое утро в загаженный, смердящий вагон, где люди испражнялись и ели рядом одновременно, входила женщина-врач в безупречно белом халате, спрашивала, нет ли жалоб, и, по ее указанию, товарищ наш, завшивленный, как и все, доктор-арестант, которому не суждено было выжить в стране Зэка, раздавал лекарства и бинтовал раны.

Так выглядела эта "социальная опека", которая сотрудничала с социальным злом, вместо того чтобы с ним бороться, украшала его — и выражала ту же двусмысленность варшавского содержания в псевдогуманной оболочке.

Раз в день раздавали нам хлеб. Не было горячей пищи, но на пятый день нам раздали глиняные миски и деревянные ложки. Под вечер пятого дня мы хлебали первый "советский" суп. Острый голод мучил нас. Но мысли наши были заняты чем-то другим.

За Столбцами мы переехали бывшую польскую границу. Сразу исчезли чистенькие белые здания польских вокзалов, покрытые красной черепицей, с круглым циферблатом часов под центральным выходом на перрон. Потянулись деревянные старые постройки царского времени — угрюмые и неряшливые. Разбитые стекла окон часто были заткнуты тряпичной или фанерой. Деревни, которые мы видели через наше крошечное окошечко, были "колхозы". Но как убого выглядели эти деревни с их потемневшими избушками и соломенными крышами!

Мы прибыли в Минск. Не полагалось арестантским эшелонам стоять на виду в столице советской Белоруссии. Нас отвели за город. Было хмурое утро, без солнца. За окошечком мы видели немощеную улицу предместья с деревянными домиками и торопливых прохожих. Шли бабы в платках и дети, не подымая глаз, не глядя в нашу сторону.

Иначе выглядели наши остановки на польской стороне! Где бы ни останавливался наш поезд — всюду немедленно собиралась толпа, и часовые должны были отгонять любопытных. Дети, как очарованные, смотрели на поезд с человеческим грузом, на товарные вагоны, набитые арестантами, на штыки конвойных, показывали пальцами на лица, смотревшие через решетку. Их матери пробовали подать нам хлеб. Мы видели слезу и выражение испуга на лицах еврейских женщин, чувствовали атмосферу сострадания или просто интереса.

По ту сторону советской границы мы перестали быть сенсацией. Нам стало ясно, что для советских граждан поезд вроде нашего — самое обыкновенное зрелище, часть их быта — ничего особенного. Сколько таких поездов они уже видели! Арестантов везут — обычное дело. Взрослые проходили отвернувшись — подальше от греха. И дети — десятилетние мальчики и девочки — шли мимо, щебеча и смеясь, и весь этот поезд был для них ни интересен, ни жуток и просто ничем не замечателен. На что тут смотреть? При виде этого глубокого и естественного равнодушия я вспомнил свое собственное детство: тогда мы, играя на откосах полотна, тоже пропускали не глядя платформы, груженные лесом,—

намозолившие глаза, обыденные, сто раз виденные. Другое дело, когда шел нарядный экспресс из столицы: разноцветные вагоны, разодетые пассажиры!.. Арестантский вагон в советской России — эка невидаль! Никто и не оглядывался на нас.

Арестанты серьезными глазами провожали школьников, вспоминали о собственных детях.

И я поблагодарил судьбу, что мой сын не живет в стране, где поезда с арестантами являются обычным явлением.

От Минска мы повернули к северу. Десять дней и ночей мы лежали в темноте, и ритм движения убаюкивал нас. Уши наши привыкли к монотонному грохотанию поезда, тело — к толчкам и дрожи стенок вагона.

Ночью и днем нас считали. Новые охранники входили в вагон, новые станции плыли мимо нас, и наконец стало холодно в вагоне. Мы начали мерзнуть по ночам, хотя было только начало августа.

Время для нас двигалось в замкнутом кругу. Казалось, мы никогда не приедем.

Все это время у меня было странное чувство. В темноте кочующего гроба, в изоляции от внешнего мира я потерял ощущение движения вдоль поверхности земли, и мне стало казаться, что мы движемся вниз — все время вниз, под землю, из мира живых.

С каждым днем мы опускались все глубже и глубже, и мрак рос и сгущался вокруг нас, как будто мы опускались в бездонный колодезь.

С каждым километром мы были все дальше от поверхности земли, над которой светит солнце, и люди улыбаются друг другу, и грудь дышит вольно и без страха.

Мы опускались безостановочно, и демоническая, невидимая сила вела нас в самое сердце ночи, в подземное царство, откуда нет возврата. С каждым днем мы были все дальше и дальше от своего прошлого. Это не был обыкновенный рейс. Это была дорога на тот свет. И мы знали, когда она кончится и мы выйдем из гроба, — все вокруг нас будет другое, и мы сами будем другие.

Наш поезд не двигался в обыкновенном человеческом измерении. Мы выехали из родных мест. Европейское лето осталось за нами. Мы выехали из человеческой памяти, из истории. Сама продолжительность этого путешествия действовала на нас гипнотически. Все мы присмирели.

Мы опускались безостановочно.

Иногда, просыпаясь, мы слышали дикие, хриплые голоса снаружи. В окошке горела тусклая кровавая заря, и мы не знали — закат ли это или рассвет.

Иногда доходил до нас далекий гром и шум, железный лязг — на рельсах горели огни семафоров, — мы знали, что это большая станция, но какая — нам не говорили. Может быть, Новгород? Может быть, Ленинград?

И снова резко содрогался вагон, и кочующий гроб уходил в безмерное пустое пространство.

Когда вечерело и последние косые лучи солнца падали в вагон, мы выдергивали доски из нар и устраивали при окошке скамейку. На эту скамейку садились тесно на верхних нарах, как куры на насест, прижимаясь друг к другу. И пели под грохот поезда, пели долго, заунывно, русские песни с польским акцентом — протяжные песни, от которых становилось на сердце тоскливо и прохладно...

**Далека ты — путь-дорога,
Выйди, милая моя! —
Мы простимся с тобой у порога,
И быть может — навсегда...**

И когда темнело совсем, простертые во мраке — лицом к лицу — рассказывали друг другу свою прошлую жизнь, хотя не было теперь большого смысла в разнице нашего опыта и наших воспоминаний.

"Работать! — говорил мой сосед, наборщик из Варшавы, с худым и нервным лицом. — Я никакой работы не боюсь. Пусть только дадут возможность, а мы покажем, что лучше их справимся с работой. В Пинске я был маляром. Никогда я раньше не был маляром, но это совсем нетрудно. Если есть голова на плечах, можно каждую работу понять. Ну, что они

могут сделать с нами дурного? Будем вместе жить и вместе работать — только всего!"

"Что это за страна? Что за странные люди? Что им нужно от нас? В Польше мы себе иначе их представляли. Почему нас бросили в тюрьму? Почему не дают нам вернуться к семье, домой — в Палестину?"

И я рассказывал соседу, что знал об этой таинственной стране.

"Страна, в которую мы едем, не лежит ни в Европе, ни в Азии. Ошибка — считать русских за европейцев.

Ты их видел в Пинске и знаешь теперь, что это не европейский народ.

Но это и не азиаты.

Это — Евразия, народ середины".

Уже тысячу лет живут евразийцы на рубеже Востока и Запада, между Азией и Европой.

Культура Европы вылилась в одну великую идею: это идея Человека, идея индивидуальной свободы и достоинства.

Мы, евреи, первые научили мир, что человек создан по образу и подобию Бога. Греки и римляне прославили Человека, и идея Свободы росла.

На этом рукопись обрывается.

ПИСЬМА И ПУБЛИКАЦИИ



Григорий ТАРТАКОВСКИЙ

ПАРАДОКСЫ АРХИПЕЛАГА

Беседа, предлагаемая на этот раз читателю, в традиционном смысле даже не может быть названа интервью. Разговор был неожиданным, как неожиданно было знакомство с ученым и изобретателем профессором Тартаковским. Григорий Александрович Тартаковский зашел в редакцию, чтобы оформить подписку на журнал, и между прочим показал нам несколько портретов, сделанных им много лет назад в лагере на Воркуте. Мы попросили Г. А. Тартаковского рассказать историю этих портретов, и вот так родилась эта беседа о жизни и психологическом облике обитателей Архипелага — тема, столь часто повторяемая в печати и литературе, что, кажется, невозможно уже сказать ничего нового. Но послушаем профессора Тартаковского. Мы отнюдь не уверены, что все согласятся с его мыслями и оценками, но именно потому, что они неожиданны и парадоксальны, мы и решили познакомить с ними читателей.

Итак, первый вопрос. Когда всматриваешься в эти лица то невольно приходит мысль о трансформации личности в условиях лагеря. То, что человеку там хуже, что он там голодает и страдает нравственно — это очевидно. Но вопрос в том, как он меняется внутренне, какие черты утрачивает, а какие обретает?..

Я не согласен уже с тем, что вы сказали в самом начале. Когда вы утверждаете, что человеку там тяжело и что, во всяком случае, ему там хуже по сравнению с жизнью, которую он вынужден вести по эту сторону проволочного ограждения, — то это верно лишь при весьма поверхностной оценке жизни лагеря. Я, например, за всю свою жизнь в Советском Союзе, только в течение семи лет, проведенных в тюрьмах и лагерях, чувствовал себя свободным человеком, и если уж не полностью свободным — таких не бывает вообще, — то, во всяком случае, куда более свободным, чем до и после лагеря. Как это ни парадоксально на первый взгляд, но именно там я ощущал в себе какое-то внутреннее достоинство, какое-то собственное "я", что целиком и полностью отсутствует в сегодняшней советской России. Большевики, пожалуй, презирают человека больше, чем кто-либо. Они не оставляют за ним абсолютно ничего. Даже рабовладелец признавал за рабом некие человеческие черты. Он мог раба заковать, опутать цепями, но он не мог уничтожить в нем желания не находиться на положении раба, естественного даже с точки зрения рабовладельца. Задача большевиков и вообще коммунистов куда более "интересна" — вылепить человека, у которого даже отсутствует понимание того, что он раб. Притом, что человек этот, по сути, остается рабом, но, основываясь на концепциях основоположников марксизма, он считает себя не только самым свободным человеком, но, в отличие от тех, кто "порабощен" капитализмом, единственно свободным человеком. Он ведь постиг истину в последней инстанции, самую большую мудрость всех времен и народов. Поэтому в лагере, где человек оказывается в иных условиях, где уже тем, что пытаются растоптать его и лишиться физической свободы, — уже всем этим ему как бы дается возможность почувствовать себя все-таки



большей личностью, чем в условиях так называемой свободы.

Это чисто психологический момент, но есть тут и момент материальный. Находясь в лагере, человек постепенно привыкает к своей пайке. Вначале это, конечно, очень невкусно. Но мало-помалу вкусовые железы, как и все человеческое, атрофируются... Зато там, в лагере, нет забот. Вам не надо беспокоиться о пище — она вам обеспечена. Вы не должны заботиться о квартире — она вам также обеспечена. Вы не имеете обязательств перед родными, помогая которым вы когда-то испытывали наслаждение; но теперь при всем желании вы лишены возможности это делать. Вначале вы, быть может, переживали это ваше бессилие, но потом и это проходит, и вы оказываетесь предоставленным самому себе. И в этом смысле как бы всецело свободным.

Что касается трансформации, которую, якобы, там пере-



живает человек, то на самом деле ничего с ним особенного не происходит. Вы попадаете в обстановку, где вам совсем не надо на каждом шагу думать, насколько ваш поступок хорош и приятен для других. И чтобы делать добро, вы должны затратить усилия. На воле все обстоит иначе, ибо там вас никогда не покидает ощущение (быть может, даже инстинктивное), что ни в коем случае нельзя игнорировать окружающих. В этом смысле эгоистом на воле быть куда сложнее... В лагере, если вы делаете добро, то уж далеко не всегда по причинам практической целесообразности, а просто потому, что вам хочется его сделать. Иначе говоря, если человек в потенции хорош и заряд доброты в нем достаточно силен, то там, в лагере, он значительно более ощутим. И, наоборот, тот, кого мы называем вполне определенным словом "подлец", может в лагере легко распоясаться, ибо



хорошо знает, что там он может совершенно безнаказанно и как угодно долго потрафлять своим инстинктам, не считаясь с окружающими. Итак, лагерь — это обстановка, которая не обогащает и не обедняет человека, а способствует раскрытию его настоящей потенции. Хорошего человека лагерная жизнь не сделает подлецом, а подлеца она лишь покажет без лоска, который придавал ему вид порядочного человека.

Теперь перейдем к людям, которые здесь представлены, — разве они не выглядят глубоко несчастными? Интересно, что вообще представляют они собой? Как и где вы с ними встретились? И что вы прежде всего хотели увидеть в каждом из них?

Чтобы ответить на ваш вопрос, несколько слов вообще о моей лагерной жизни. Нужно сказать, что большую ее часть я провел в изоляторе. Объясняется это тем, что в ла-



гере мне тоже пытались наступать на пятки, всячески желая из меня сделать советского заключенного, который понимает, насколько он низко пал, уйдя от "свободного" советского общества. В лагерях обычно идут весьма тривиальным путем, помещая заключенного в изолятор, сокращая и без того ничтожную пайку. Когда человеку дают меньше есть, он испытывает от этого неудобства, а некоторые — даже мучения. Не знаю почему, может быть, в силу своих физических данных или каких-то других обстоятельств, я никогда не испытывал мучений от того, что день-два или даже три не поем. Так же меня ничуть не страшило и одиночество, в котором я оказывался в изоляторе. Напротив, присутствие рядом людей с одними и теми же, бесконечно повторяющимися жестами и манерами действовало на меня куда хуже, чем пребывание в одиночке. По-

степенно я пришел к выводу, что общество самого себя меня раздражает меньше всего... Так вот в один из дней, когда я еще не научился отсиживать в изоляторах, я и занялся рисованием. Нужно сказать, что еще в детстве я обладал способностями к рисованию, к лепке. Меня даже считали вундеркиндом. Очевидно, рисовал я действительно неплохо для своих лет. Позже поступил в художественное училище — это было в Баку, — очень быстро окончил его, за год-полтора окончил натурный класс — мне было тогда что-то десять-одиннадцать. Вообще процесс созревания рисовальщика, живописца, по-видимому, отличается от созревания другого художника, например, музыканта. Говорят, если музыкант — скрипач или пианист — не играет ежедневно, не упражняет пальцы рук, то его техника идет на убыль. Но как прикажете понять такую вещь. Мне было всего пятнадцать лет, когда я расстался с живописью и увлекся инженерными науками, которые и составляют суть всей моей последующей жизни, — и вот проходит очень много лет, в сорокалетнем примерно возрасте я попадаю в тюрьму и лагерь. И однажды, на Воркуте, оказавшись в бараке, где, к слову скажу, были довольно либеральные порядки, — я увидел, как сидят двое, рядом с ними не мольберты — обычные доски, — и с двух позиций рисуют третьего. Оказалось, что это были архитекторы, а, как известно, для архитектора искусство рисовать — это не столько самоцель, сколько способ, поэтому архитекторы — большей частью не художники, а просто рисовальщики, хорошие или нехорошие — это другое дело, но рисовальщики и не более. Те, которые рисовали в бараке, оказались не очень хорошими рисовальщиками. И вот — сам не знаю, как это получилось, — но во мне что-то взыграло. Столько лет не брал в руки ни кисти, ни карандаша, а тут увидел, что эти двое делают с живой натурой (я ведь сам когда-то рисовал именно с натуры, был портретистом), увидел их "творчество", и что-то заело меня. Я поинтересовался, есть ли у них еще бумага, а они спросили: "А вы что, художник?" — "Да нет, не художник, просто попробовать хочу!" Я действительно не знал, что у меня получится. В общем, сел и стал рисовать.

Я лучше их рисовал. Но дело не только в том, что у меня получалось лучше, а в том, что я сам не ожидал, что у меня так получится. За много лет я ни разу не приблизился к мольберту, а моя техника стала куда более зрелой.

С тех пор как только я выходил из изолятора и на два-три дня попадал в барак, я брал первого попавшегося... и начинал рисовать. Клиентура моя сама доставала мне маленькие кусочки ватмана, вернее, то, что там называли ватманом, и обычный свинцовый карандаш "Б" или 3 "Б", более или менее мягкий. Такой, как вы видите портрет, у меня обычно занимал 30—40 минут, с перерывом минут на 5—6, чтобы позирующий мог отдохнуть. В то время как я начинал рисовать, я не знаю, что со мной происходило, сублимация какая-то, но для меня буквально ничего не существовало, настолько я весь был поглощен этим занятием. Зато мои натурщики подходили к этому очень прагматично. Увидев, что получается похоже, они умудрились через свою блатную агентуру передавать мои рисунки за зону. Там подобного же рода фотографии делали вот такие, как вы видите, маленькие карточки. Постепенно у меня скопилось обширная галерея работ, которая по количеству, может быть, не уступала знаменитой галерее Ломброзо.

Все это за двадцать пять лет было растеряно, очень много я раздал, осталось с десятков с небольшим. Но повторяю: наиболее загадочным для меня выглядит то, каким образом получилось, что, оставаясь без тренировки десятки лет, я не только не утратил технику, но, напротив, она во много раз возросла... Разумеется, я знаю, что я — не художник, хотя в смысле техники, может быть, и нахожусь на профессиональном уровне. Нехудожник, возможно, я по другой причине — живопись меня не захватывает на все время, только в минуты, когда я рисую, тогда я поглощен этим всецело, в остальное время это у меня никаких мыслей и эмоций не вызывает.

Есть люди, которые умеют очень хорошо слагать стихи. Что они — поэты? Они просто ремесленники, хорошие профессионалы, однако поэзией в их "творениях" и не пахнет. Хотя бы потому, что в любом искусстве, в любом творении есть большая доля шизофрении. Я думаю, что подлинная поэ-



зия, музыка или живопись не могут быть выведены из логично объясняемых, рационалистических категорий. И чудо здесь в том, что это иррациональное и логически необъяснимое приносит вполне реальные и осязаемые плоды. Повторяю, эти плоды — результат чего-то непознаваемого. Если человек обладает способностью воспринимать жизнь иначе, чем другие — это аномалии, которые мы привыкли называть шизофреническими заболеваниями.

Я не хочу сказать, что каждый больной шизофренией — это обязательно художник или поэт, но в каждом подлинном художнике, в моем понимании, — что-то от шизофрении. В хаосе звуков он слышит звуки, которые мы не слышим. Это музыкант. Он видит те пятна и создает из них целые полотна, которые для другого, обладающего вполне здоровым рациональным мышлением, являются просто грязными пятнами, не бо-



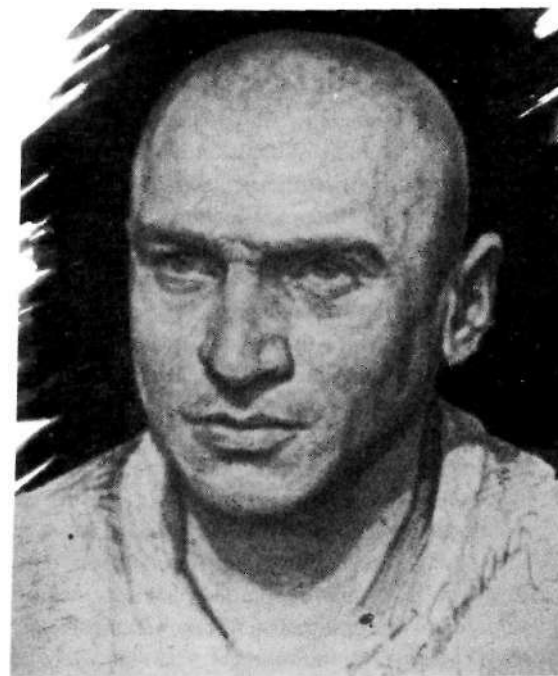
лее. Я, например, когда рисую, мало озабочен тем, чтобы точно воспроизвести черты моей натуры: лоб, нос или глаза. Фотография это сделает лучше, чем я и чем даже любой самый гениальный живописец. Мне же интересно узнать, что есть в этом лице именно ему свойственное, отражающее его внутренний мир. Представьте себе лицо, даже ничем не примечательное, которое можно забыть, но вот начинаешь всматриваться, и оказывается, что можно запечатлеть на бумаге именно то, что делает это лицо не похожим ни на одно лицо на свете. Возьмите фотографию, испачкайте и где-то порежьте ее — и даже человека, которого вы хорошо знаете, вы не сможете узнать. Но если портрет "схватил" в этом человеке то, что принадлежит только ему одному, вы узнаете его, как бы он ни был искалечен. Так же, как вы не можете не узнать в самом изуродованном человеке вашего родного или



близкого, даже тогда, когда раны, казалось бы, неузнаваемо обезобразили его лицо. Я убежден, что в каждом лице отражен какой-то свой внутренний микромир, который, конечно, не похож ни на какой другой микромир. И задача художника как раз и состоит в том, чтобы его выразить. Можно ли всегда это сделать? Нет, наверное. Не думаю, что и мне это всегда удавалось. Но иногда все-таки удавалось.

Может быть, вы теперь скажете несколько слов о тех людях, которые запечатлены на этих портретах?

Я думаю, что вряд ли стоит уделять внимание каждому из них в отдельности. Я бы сказал так, что все это неудавшиеся "советские люди". Потому что многие из них, хотя и сели по так называемой "58-й", — вовсе и не противники советской власти. В большинстве своем они даже и не понимают, что над ними производится такой эксперимент, как



выхолащивание их собственного "я", то есть то, что происходит вообще в России на протяжении шести десятков лет. В отличие от миллионов других советских людей им просто "не повезло", они попали в лагерь и теперь всеми силами стараются выжить, то есть сохранить себя в самом примитивном животном смысле. Есть среди них несколько человек из блатных, из воров, которые, может, даже и заслуживают внимания, в том смысле, что, в отличие от остальных, утративших чувство собственного достоинства, эти гордо несли свое воровское звание. Ведь, как правило, так называемые политические всячески вымаливали себе снисхождение. Эти же, бия себя в грудь, говорили, что они воры и потому плюют на общество. Это наивно, но все-таки вызывает какое-то уважение к личности, имеющей пусть в изуродованном виде, но хоть что-то принципиальное, в отличие от так на-

зываемых борцов против советской власти. Среди представленных здесь — бывший генерал, глубоко оскорбленный тем, что попал в одну компанию с "антисоветчиками"; дьякон с Западной Украины, оказавшийся излишне преданным Богу; инженер, попавший сюда по одному из пунктов 58-й статьи и пристроившийся в КВЧ*, чтобы получить больше зачетов; летчик, который случайно приземлился не в том месте, где положено; представитель бендеровской публики; несколько блатных; мелкий служащий... Словом, все они, как я уже сказал, обычные советские люди. Для огромного большинства из них выход из лагеря и свобода были синонимами. Вы почти не могли найти среди них человека, который бы понимал, что лагерь не более чем ограничил его передвижение в смысле геометрическом, что он здесь даже более свободен, чем там, на "советской воле".

Я уже сказал, что лично я в лагере, по сравнению с так называемой свободой, чувствовал себя не так уж плохо. Просто испытывал большие неудобства от того, что мне как инженеру требовалось гораздо больше, чем мог мне предоставить лагерь, да и вообще Советский Союз. Правда, попав за колючую проволоку, я тотчас же отказался от инженерной работы, почему и попал очень скоро в изолятор. И на общие работы я выходил только тогда, когда надо было потренировать мускулы. На инженерное дело я не соглашался и лишь в конце "попался на эту удочку". Произошло это тогда, когда меня среди многих других расконвоировали и перевели, как говорят в лагере, на свой "харч", то есть предоставили самому заботиться о пропитании. Так вот, когда была уже проведена эта процедура освобождения по-советски и меня "спустили" из Воркуты в Ухту, выяснилось, что через реку Ухту нужно было проложить трубопровод длиной свыше 400 метров. Притом в условиях вечной мерзлоты, а предлагаемые пути были очень долгими. Меня вызвали к начальству и спросили, что можно сделать. И тут они попали в самую точку. Когда я был профессором в Черновицком университете, я не мог добиться реализации своего инженерного решения. Никто не хотел отпускать необходимых средств, потому что считали: раз этого нет в Амери-

ке и раз этого нет в Канаде, то вряд ли из этого вообще может что-то получиться. У меня же было необычное решение, и я так ничего и не смог добиться. И только тут, поскольку КГБ ни у кого не должно было спрашивать и не жалело денег, мое предложение было с ходу принято. И первый трубопровод, который я провесил, был трубопровод над поймой реки Ухта. Но я, кажется, отклонился.

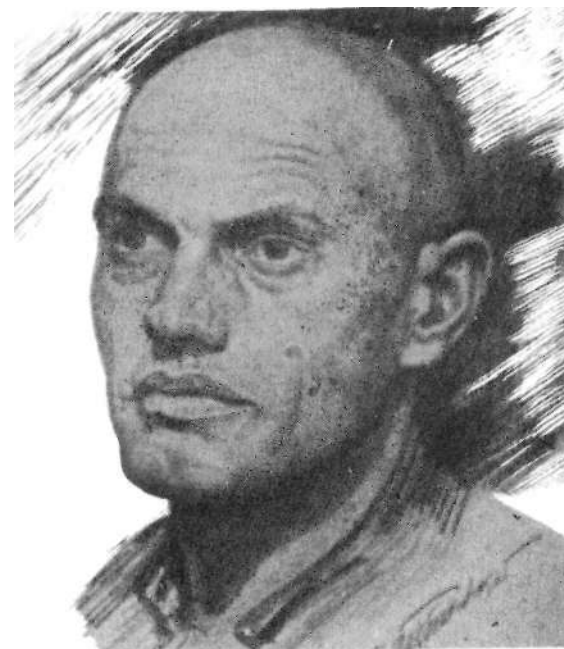
В принципе я совершенно не согласен с теми, кто все ужасы социализма стремится показать через лагерь. Получается так: есть некое светлое пятно — советская Россия со всеми ее околотками и на этом светлом фоне — грозные, темные, чудовищные острова "Архипелаг Гулаг". Уничтожить бы их, придать бы социализму человеческое лицо, придать бы бульдогу лицо ласточки — и в корне бы все изменилось! Но так ли это? Что такое лагерь в условиях СССР? Если паровой котел имеет предохранительный клапан, то этот клапан при возрастании в котле давления сохраняет его от разрушения. Не так-то просто уложить в прокрустово ложе коммунизма целые народы, четверть миллиарда людей. Притом когда для этого надо не поотрубать ноги, а сделать некие мозговые операции в открытой черепной коробке — изменить человека! — вот ведь какую задачу поставили большевики. Изменить его в соответствии с программой. Не программу в соответствии с нуждами человека, а человека по программе — ведь это же такая античеловечная концепция, которая не нуждается ни в какой иллюстрации, ни в какой жестокости лагерей. Правда, по-видимому, это невозможно сделать даже на протяжении многих поколений. Можно лишь заставить человека путем давления на него действовать в определенных условиях так или иначе. Вот и получается некий паровой котел, в котором лагеря — лишь своего рода предохранительные клапаны.

Чем больше лагерей, тем лично я отчетливее ощущаю, что еще не всех придушили. Еще остались и такие, которые противятся покушению на их маленькое "я". Сегодня лагерей все меньше и меньше. Почему? Больше укороченных! Больше прошедших операции на прокрустовом ложе Советского Союза. Уже есть дети этих укороченных, действующие реф-

* Культурно-воспитательная часть.



лекторно, сообразно требованиям режима, и меньше необходимо операций и отсюда меньше лагерей, а совсем не потому, что свободный мир так уж эффективно воздействует на советские власти. Они сами, по-видимому, эти господа хрущевы, косыгины, брежневцы, недостаточно понимают, на что направлены их усилия — на уничтожение одной человеческой породы и создание другой, качественно отличной, — советского человека. Спрашивается, хорошо или плохо, что есть лагерь в Советском Союзе. Может быть, это звучит и не гуманно, но мне кажется — хорошо! Ибо по этому термометру мы судим о температуре в гигантской душегубке, где идет процесс уничтожения личности. Мне скажут: позвольте, но ведь в лагере людей убивают. Да их там меньше убивают, чем в Советском Союзе на воле, я имею в виду именно как людей, как мыслящих существ. Важно, что человека в вас не видят



ни на воле, ни в лагере. Наоборот, в лагере, как я уже говорил, чекисты вас все же больше уважают, когда видят, что вы не такой, как все. И что же получается? Солженицын в своих произведениях видит прежде всего лагерь, а другие пошли еще дальше — требуют прав человека для того, кто уже давно забыл, что такое права человека, кто, в сущности, и не нуждается в этих правах.

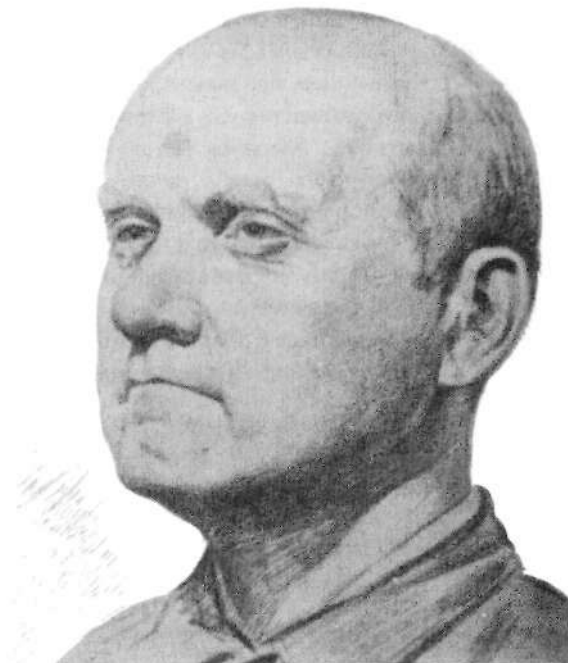
В этом смысле пережитая нами эпоха вообще весьма парадоксальна. Многие, например, считают, что Сталин был великим несчастьем для России. Субъективно — это так. Но объективно — это ведь благо, что он был. То, что Сталин сделал для разоблачения коммунизма, все диссиденты вместе взятые не сделают за много десятков лет.

До такой степени показать античеловечность марксистской концепции, как это практически показал Сталин, — скажите,



это благо или несчастье? Да, несчастье, когда десятки миллионов погибло, но, с другой стороны, нет ничего положительного, которое бы рождалось из ничего.

Мы имеем расходы, гигантские расходы. Зато, поверьте, что после Сталина в мире вообще не осталось бы ни одного коммуниста, если бы не свойство человеческой памяти забывать прошлое. И в этом "заслуга" Сталина, который, повторяю, кристаллизовал то, что отстаивали великие апологеты марксизма: вот что получается из него на практике! Сталин, конечно, к этому не стремился, но на практике получилось именно так. К сожалению, мир невозможно так быстро переубедить. И вот какой-нибудь итальянец, или француз, или швед, будучи убежденным коммунистом-идеалистом, напропалую ругает Сталина, который, по его мнению, всего лишь испортил, исказил коммунизм или социализм. Другая



система, которая, правда, не уничтожила столько душ, — это гитлеризм. В масштабе истории он также был до некоторой степени благом. Потому что, если отвращать человечество от нацизма, если показывать, что он собой представляет, то надо было это делать внушительно, как это и сделал Гитлер.

Поэтому мне, например, кажется, что добрый и глупый человек, который становится коммунистом, гораздо вреднее, чем законченный подлец и палач сталинского образца. Палача может рассмотреть каждый, и через его психологию люди начинают оценивать миропонимание, которое он исповедует. Не случайно то, что происходит сегодня в Советском Союзе, вряд ли может повториться в каких-то цивилизованных странах. От этого их спас Сталин. Коммунизм — это болезнь современности, и, судя по всему, многие еще

должны переболеть этой болезнью, многие должны погибнуть, многие превратиться в ходячие трупы, и только их дети, а может быть, даже внуки начнут избавляться от тяжелых наследственных признаков. В России эта остаточная деформация, эта рефлекторность "коммунистических поступков" и "действий", наверное, будет продолжаться долгое время, даже после того, как существующая система прекратит свое существование в том виде, в каком мы ее видим сегодня. Но все же постепенно это избавление будет происходить, потому что трудно себе представить человека, деформированного на тысячелетия, так чтобы он превратился в совершенно не мыслящее существо, неспособное обрести свой изначальный облик свободного человека.

ВРЕМЯ И МЫ

С РАЗНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ

РЕЦЕНЗИИ

ПИСЬМА

ОТКЛИКИ



Важным литературным событием, которое уже давно пора отметить, является литературно-общественный ежемесячный журнал "Время и мы", выходящий на русском языке.

Журнал этот родился год назад в результате инициативы и усилий горстки энтузиастов из Советского Союза. "Время и мы" содержит всего 220 страниц, однако его редакторам удалось включить в рамки этого сравнительно небольшого издания произведения художественной литературы, публицистику, мемуары, литературную критику.

Журнал объединил вокруг себя лучшие литературные силы из числа новых эмигрантов, прибывших из Советского Союза. И за короткое время своего существования завоевал успех не только в Израиле, но и за рубежом и даже в Советском Союзе, о чем свидетельствуют читательские письма, поступающие оттуда.

Несмотря на трудности, с которыми сталкивается новый ежемесячник — неизбежная судьба любого журнала, где бы он ни появлялся, — похоже, что будущее этого издания все-таки обеспечено главным образом благодаря его высокому

уровню. И действительно, его тираж непрерывно растет, хотя и тут не обходится без трудностей.

Журнал отличается широким горизонтом, и в нем явно заметна тенденция — не впадать в провинциализм. Он старается охватить как литературное творчество новых репатриантов из СССР, так и проблемы их интеграции, литературу Самиздата и общую проблематику нашего времени и, в особенности, жизни современной России. Вместе с тем это еврейский журнал, но не в узком смысле этого слова, а в гораздо более всеобъемлющем, придающем ему международный характер.

Все, кто разбирается в русской периодике, выходящей за пределы СССР, в один голос признают, что "Время и мы" с литературной точки зрения один из лучших, если только не самый лучший журнал в мире (его главным соперником является выходящий в Париже под редакцией Владимира Максимова "Континент").

Как ни странно, но до выхода в свет первого номера журнала "Время и мы" у русского читателя не было возможности прочитать "Тьму в полдень" Артура Кестлера — "фантастический" роман, едва ли не первым вскрывший истинный смысл чисток и расправ в сталинской России. Перевод этой книги появился в первых двух номерах журнала "Время и мы".

Надо отметить, что поначалу в журнале довольно сильно ощущались русские тенденции, однако постепенно они уравновесились публикациями израильских авторов, и на его страницах нашли свое место переводы из произведений А. Б. Иошуа, Моше Шамира, Эфраима Кишона, Далии Равикович, Давида Авидана, Натана Ионатана, философские страницы Мартина Бубера и раввина Адина Штейнзальца. И все это наряду с произведениями русских писателей и поэтов.

Особого упоминания заслуживает публицистика, посвященная проблемам еврейской интеллигенции как в Советском Союзе, так и покинувшей его.

Итак, перед нами выдающееся культурное явление в полном смысле этого слова. Как уже говорилось выше,

журнал издается на русском языке, и это лишает возможности многих в стране с ним познакомиться, но, несмотря на это, он развивается, приносит плоды и украшает нашу действительность.

Яков Шарет

*Тель-Авив,
февраль 1977*

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

...Попав в Израиль, бывшие советские люди осознали себя "русским еврейством" даже острее, чем чувствовали себя евреями в России. Ностальгический дымок сожженных мостов потянулся назад, к влажному апрельскому снегу, к Сивцеву Вражку на Арбате, к размашистым невским набережным. За дверью с деревянной мезузой (дощечка с молитвой) на книжной полке встал Александр Сергеевич Пушкин.

Все это определило зыбкую грань прошлого и настоящего, на которой держится новый журнал "Время и мы". Во всех материалах чувствуется настойчивое желание понять: "Кто мы, трагические актеры или самобытная нация? Что увело нас оттуда? Что неправильно здесь? И как, в конце концов, свести осуществившуюся мечту о свободе с поисками работы по специальности?"

"Помочь лучше разобраться во времени и в себе" — эта надпись на обложке журнала с упрямым постоянством переходит из номера в номер. Часть материалов носит спорный характер. Орлов, например, доказывает, что не Фанни Каплан покушалась на Ленина; Белинков утверждает, что

Юрий Олеша не был героем нашего времени, а всего лишь ничтожным пасынком века.

Поставлено много вопросов, но, похоже, нет на них ответа... Но может в том и есть назначение журнала, чтобы не отвечать на вопросы, а ставить их?

Принято требовать положительной программы от новых журналов. Положительной программы в этом журнале нет. Не вычитаешь ее даже из вступительного обращения редколлегии в первом номере. "Это издание широкого гуманистического плана, цель его отстаивать духовные ценности, ежедневно сокрушаемые в тоталитарном и потребительском обществе", — пишут они верные и кажущиеся слишком общими слова. В нашем жестком, детерминированном мире, где все только и заняты тем, что указывают друг другу истинно правильный путь, появился печатный орган, в котором привычные для "толстого" русского журнала чернотелые политические оценки размыты попытками нравственных решений.

Вместо программы есть другое ценное качество в журнале: репрезентативность. Он точно синхронизирован с мировоззрением одного поколения и не является журналом вообще. Он представляет вздыбленное, переломное время третьей эмиграции из России, независимо от того, куда люди поехали — в Израиль или в Америку. Но уехали они из одной страны и из одного времени. Там им пришлось сильно разочароваться в лозунгах, плакатах, генеральных линиях и тотальных постановлениях. Там они начали учиться ре-визовать навязанные сверху взгляды, освобождаться от тяжелых догматических цепей. "Зачем человек живет в этом оглушающем двадцатом веке?". Ответ на этот вопрос, независимый ни от партий, ни от идеологий, пытаются найти создатели журнала.

Сосредоточенность на своем поколении и своих собственных проблемах избавила журнал от занятия, которому очень часто и со страстью предаются новоприехавшие. В журнале никто не учит Запад, как ему пользоваться его свободой, нет указаний правительству Израиля, как надо

воевать, и нет дешевого пропагандного обличения только что покинутой страны.

Соотнесенность с определенным поколением наиболее ярко выражается в языке журнала. Статьи, рассказы, стихи, помещаемые здесь, написаны, как правило, профессиональными литераторами, индивидуальная творческая манера которых сложилась в подцензурной литературе и литературе самиздата. Это В. Некрасов, А. Галич, Б. Хазанов, Н. Коржавин. Язык их произведений иногда резко отличается от языка, бережно сохраняемого русской эмиграцией на Западе. Иногда он кажется грубым, излишне ироничным, даже "советским", хотя и грубость, и ироничность есть попытка высвободиться из-под бесцветного языка соцреализма, нацеленного на приукрашивание советской действительности. Надо, однако, полагать, что оба речевых русла — более консервативное и более модернистское — служат одной цели: сохранению живого, как жизнь, развивающегося русского языка.

*Н. Б.
Нью-Йорк,
август 1976*

РУССКАЯ МЫСЛЬ^Э

...В журнале "Время и мы" немало хорошей прозы, но по-настоящему зажил я, читая Зиновия Зиника — "Извещение", в № 8, июнь 1976, стр. 3-83

...Никого ни с кем не сравнивая и не касаясь уровней и оценок, я хотел бы лишь сказать, что при чтении Зиника происходит ощущение искусства. Это его первая серьезная публикация, хотя рассказы я читал еще дома, в самиздате. Не обозначенное даже подзаголовком, так что лишь по размеру текста и проживаемой жизни можно сказать "по-

весть", "Извещение" протаскивает читателя сквозь себя безостановочно. Почему-то по поводу его структуры приходят слова из армянской сказки: змея, ползущая на своем на пупке. Вообще сказочные ассоциации присутствуют.

Когда я недавно впервые увиделся с Зиником, он рассказал мне, что сам собой замкнувшийся в его "Извещении" сюжет напомнил ему, после удивленного прочтения сказку "Карлик Нос".

...Стилистически достаточно простая, спокойно переходящая от коротких прозрачных предложений к ритмическим удлинненным, там, где это потребовалось, повесть оставляет вкус настоящей сложности, в том числе и стилистической. Она о том, чем живет автор, и потому наполнена тоской и болью. А живет он темой исхода из России, неотрывных живых связей с нею и недоумением по поводу решительно переместившейся точки психологического исхода. Как всякая живая ткань, она содержит и чувственность, повышающую степень нашего доверия к мыслям.

...Непонятно, что делает текст литературой. Кажется, реализм — это когда записано то, о чем все говорят, но никто не напишет. Однако без жизненных реалий никакая проза не оживает. С другой стороны, ни мысли, ни благие желания, ни игра ума и остроумие, взятые отдельно, не способны составить собой литературы. Когда же литература составила, мы радостно отмечаем в ней и жизнь, и ум, радуемся игре и смеемся смешному. Так же непонятно про кино: иной раз тебе покажут самые соблазнительные раздетые картинки, а скулы воротит от скуки; а то так два угрюмых японца полтора часа таскают воду — и не оторваться. Ты чувствуешь: нет, в это окошко я еще никогда не глядел.

Когда человеку за сорок, его не удивишь даже Парижем. Но, читая Зиника, хочешь сказать: действительно, в это окно я еще не заглядывал. А это свидетельствует только об одном — о даровании. Зиновию Зинику остается немного: по-прежнему выражать себя "необязательно" во многих сочинениях, которых мы теперь будем ждать с интересом.

Если подняться на следующую ступеньку, можно сделать повести Зиника лишь один упрек. Мой друг, оставленный дома, когда-то написал: был человек там и был человек туда. Повесть Зиновия Зиника принадлежит к литературе движения: вдоль географии, вдоль психологии, вдоль вознесения. Упрек тут невелик и, может, даже приятен: большая часть литературы такова, а особенно западной, современной.

Можно было бы даже сказать, что, переместившись из Москвы на Запад, Зиник достиг настоящего западного уровня. "Некоторые предпочитают говорить "европейский" (на который лишь и нужно нам себя, здесь, настраивать). Но дома у нас существовал всегда уровень иной. Только неглубокий, тенью скользящий взгляд может счесть, что оттуда сюда происходит восхождение. Движенья нет, сказал мудрец брадатый. От Зиника хочется, можно ждать и другого: литературы присутствия.

Мы не устроены здесь. Мы никогда и нигде не будем устроены. Но оглядимся: и дал ми еси свет Твой красный! Художник и в тревоге дышит покоем, учил нас Николай Васильевич Гоголь.

*Владимир Марамзин
Париж,
октябрь 1976*

ПИСЬМА ИЗ ИЗРАИЛЯ

...русские евреи, во многом ассимилированные за годы советской власти, глубоко усвоили русский язык и русскую культуру и не могут представить себе жизни без нее, даже уехав из СССР. Русское классическое наследие — неотъемлемая часть культурного багажа, который привозят олим-интеллигенты из Союза, и очень хорошо, что редакция журнала "Время и мы" исходит из этого. Как жаль,

что в Союзе ничего не известно об этом интереснейшем журнале! Мы уверены, что если бы он попал в Москву и Ленинград, то стал бы "бестселлером" среди подпольной литературы и, несомненно, сыграл бы значительную роль в деле ознакомления с духовной жизнью израильтян, в частности, выходцев из Союза. По нашему глубокому убеждению, среди причин, порождающих отъезд советских евреев в Штаты, не последнее место занимает и тот факт, что часть интеллигенции (как гуманитарной, так и технической) страшится отсутствия привычной и чрезвычайно важной для нее культурной среды, боится оказаться в своего рода "культурной изоляции".

С уважением

*Плана и Станислав Чаплины,
кинорежиссеры;*

*Леонид Шур,
историк;*

*Ирина Дмоховская,
переводчица.*

Пользуюсь случаем выразить вам мою искреннюю благодарность за радость, которую доставляет мне и моим друзьям чтение вашего журнала. Хотя и больно читать многое, что в нем публикуется (в литерат. отделении), но для русского читателя, будь он и "старожил", как я, такой журнал необходим. И какими словами описать самую настоящую радость, и восхищение, и восторг — при чтении "Часа короля" Б. Хазанова. Это настоящая жемчужина русской прозы. Спасибо.

С уважением

*Дина Стави
Ул. Мельчет, 26
Тель-Авив*

Уважаемые,
по случайным обстоятельствам не появилась моя статья до сих пор. В ближайшее время она появится. Ваш журнал — самый лучший. (Но очень раздражает глупая статья "Кто читатель?" (№ 7) : просто чушь. И статья выкреста-кармелита: не будет крещенный с нами, за одним столом.

Но журнал — самый лучший. Он — достижение.

Абрамский

МРАК И ТЬМА

О СОДЕРЖАНИИ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"*

Читал я несколько экземпляров этого журнала. И хотя на второй странице журнала значится заметка редакции, что, "мнения выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции", то все-же эта заметка никак не может оправдать тех пагубных последствий которые преподносят на страницах этого журнала писатели своих "трудов" народу Израила призванному Творцом к святости и чистоте жизни.

И ведь не только в Израиле читают ваш журнал, но и среди инородцев, для которых Израильский народ должен быть светочем на пути в потерянный рай. Но к сожалению, "Время и мы" является мраком и тьмою ведущим ко всеобщему истреблению! Почему?

1) А потому что в жизни людей (не в теории) ни одна религия ни одна вера, ни одно политическое движение не стоят на истинном пути к восстановлению разрушающейся жизни в человечестве.

2) А потому что ни один писатель в журнале "Время и мы" не занимается поисками путей к единой истине среди человечества, и не освещает вопросы духовно-нравственной жизни человека ведущей его к единой вере на основании Танаха к единой религии и к единой хозяйственной и политической жизни.

3) А потому что писатели этого журнала только копаются в грязи прошлой и настоящей жизни изобилующей своею безнравственностью и пошлостью.

4) А потому что писатели этого журнала ища разрешения политических вопросов упускают из вида то обстоятельство, что без возрождения духовно-нравственной жизни в каждом человеке отдельно, всякое разрешение политических и хозяйственных вопросов обречено на провал.

5) А потому что писатели журнала "Время и мы" сами никогда не пережили духовного возрождения, а это видно из их "трудов" в которых видно их ироническое пессимистическое снисходительное или равнодушное отношение ко всему святому что Бог открыл людям через Тору и Пророков.

А теперь моя просьба к редакции журнала: "Время и мы". Если согласно ваших слов: "мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции", то пожалуйста это мое отношение ко всем людям доброй воли прошу поместите в ваш уважаемый журнал.

*Амфиан Герасимов
Неве Яаков №30/14
Иерусалим*

*Согласно просьбе Амфиана Герасимова, мы публикуем его письмо, полностью сохраняя стиль и орфографию автора.

...И ГОЛОСА ИЗ РОССИИ**БОЙТЕСЬ УЗКИХ ЛБОВ**

Из письма к Михаилу Занду

...Теперь — о самом главном, о первом номере журнала "Время и мы". Он меня порадовал: умом, интеллигентностью, профессионализмом, отсутствием пустот, пошлости. Но! Заметил я в нем и два подводных камня, которые, если их в дальнейшем не обойти, могут пробить днище вашей лодки. Один камень преткновения — Сталин. Слишком много Сталина: и в романе, и в плакатах, и у Миши Суслова (я уж не говорю о незримом присутствии "нашего Учителя и Вождя" в других материалах номера) — это явный перебор, нарушение пропорций. /Психологически это вполне понятно. Мы, 45-летние, все еще чувствуем его заботливый сапог на своем нежном затылке. Но читателю чихать на мою и твою психологию/. Игра плакатами и мило написанные анекдоты Суслова вполне уместны, но в другом номере. Для сталинщины вполне достаточно романа. Иначе надо менять название журнала на "Былое и мы". Журналу, на мой взгляд, вредит уже один тот факт, что роман занял более половины его объема. Это тоже не дело, это тоже лишает номер разнообразия и информативности — не должен один материал (если он не о сегодняшней проблеме, тем более!) занимать больше трети номера. К тому же сюжет уже хорошо знаком вашей русской аудитории, да и по не худшим, чем "Тьма в полдень", образцам. Сейчас надо писать о наследниках, преемниках Сосо, это уже тоже целая формация.

Теперь о втором подводном камне, быть может, более крупном. Вынимая его из-за пазухи, я вспоминаю, как мы с тобой прогуливались и спорили о национализме и интернационализме. (Прости затертые пропагандой слова, но других я сейчас не нахожу.) Кого редколлегия понимает под "Мы" в названии журнала? Вероятно, евреев. Но русский язык принадлежит не только евреям. А если прочесть по существу ваш милый моему сердцу девиз на обложке, то можно решить, что он адресован не только евреям. Было бы роковой ошибкой (снова прости — за оборот: он категоричен по-ленински и нахален, но ты не обращай на это внимание, а зри в корень) ограничиться сугубо еврейскими культурными, социальными, историческими, литературными, политическими, этическими, психологическими, экономическими и прочими проблемами. В наше "Время" "Мы" сталкиваемся с массой глобальных проблем, а если все-таки говорить о национальных, то и в них есть не только центристские силы, но и центробежные. Я понимаю: мы, русские евреи,

сейчас только учимся на евреев, одни из нас более прилежны, другие менее прилежны; одни выучатся на евреев, другие сделают лишь первые шаги, чтобы их дети пошли дальше. И сейчас, когда мы возвращаемся в евреи, когда наши взоры и силы прикованы к этому чуду, очень легко потерять чувство меры, очень легко забыть, что "Мы" связаны, как ни один другой народ, со всем глобусом, со всеми народами, что не все "Мы" возвратимся в евреи. Если это помнить, если это (не обязательно всегда явно!) будет присутствовать в материалах журнала, то у вас будет шанс перерасти национальные рамки, вас будут переводить и перепечатывать. Бойтесь узких лбов, бойтесь вскормленных на вековых обидах претензий и неуемных амбиций, не бойтесь смеяться над евреями — ведь мы смешны. Иначе, не дай Бог, не заметите, как ваш интеллектуализм обернется местечковостью. Если моя точка зрения вызовет у вас отпор, то не забывайте, что она все-таки существует.

А. П.

Москва

...Очень внимательно прочитал я "Начало лета" и так-таки не взял в толк: есть ли смысл в сидении на Иордане или нет? Как хочешь, так и понимай. Хочешь — повесть насквозь поражненная, хочешь — какой-то абсурд, хочешь — глубочайшая жертвенность. А сам автор как? Интересно бы почитать критику. А вещь сильная, и я хожу сам не своей.

Д. Я.

Москва

...После статьи "Жить во лжи" в одиннадцатой книжке "Время и мы" особенно грустно признаться, что самой-то повести Трифонова я до сих пор полностью не прочитал. Много о ней слышал, читал отдельные странички, но получить номер 1 "Дружбы народов" за 1976 год так и не удалось, хотя у меня к этой повести есть особый интерес: ведь в этом самом доме на набережной мы жили, и из него меня поволокли по кочкам в свое время. Кстати, почему вы напечатали только рецензию, а не саму повесть? Вряд ли она здесь выйдет отдельной книгой.

В. С.

Ленинград

...Почему-то нет продолжения "Аферы". В вашем изложении она звучит прямо-таки жутко. Всей душой надеюсь, что вы перебарщиваете, что все было не так, что злого умысла никакого не было. А вообще, какая надобность копаться во всем этом? Еще "Огонек" перепечатает, вот увидите. Но это у вас, видимо, мода пошла нынче на Западе — разоблачать собственную разведку...

А.

Д.

Воркута

...С большим интересом прочитал "Абрама Терца и Александра Пушкина". Очень и очень толково написано; у автора, как говорится, "бойкое перо". Поскольку в руках моих оказался только отрывок, вспомнились мне такие строчки:

Недавно я стихами как-то свистнул
И выдал их без подписи моей;
Журнальный шут о них статейку тиснул,
Без подписи ж пустив ее, злодей.
Но что ж? Ни мне, ни площадному шуту
Не удалось прикрыть своих проказ:
Он по когтям узнал меня в минуту,
Я по ушам узнал его как раз.

Так вот, у меня сложилось впечатление, что автор принадлежит к числу тех, кого узнают по когтям. Желая успехов и хотел бы познакомиться с этим автором поближе, но боюсь, как бы это более близкое знакомство не повлекло за собою безвестную пропажу писем.

А. С.
Москва

ГЕНРИХ

ШАХНОВИЧ

"СОЛО НА БАРАБАНЕ"

юмор и сатира

(рассказы, юморески, мысли вслух)

Книга выходит в свет в начале 1977 года.

"Генрих Шахнович умеет подмечать смешное. Иногда и несмешное. Даже грустное. А грустное главное потому, что оно не прошло, оно еще есть".

(Из предисловия Виктора Некрасова.)

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ВЛАДИМИР МАРАМЗИН. Родился в 1934 году, в селе под Ленинградом. Получил техническое образование. В Советском Союзе выходили его книги для детей — те же произведения, которые он считал для себя важнейшими, не печатались. Серия небольших рассказов была помещена в самиздатском журнале "Евреи в СССР". В 1974 году был арестован и судим в связи с так называемым "делом Хейфица" и участием в подготовке собрания сочинений Иосифа Бродского. В том же 1974 в США в издательстве "Ардис" вышла повесть "Блондин обеего цвета", в журнале "Континент" была опубликована его повесть "История женитьбы Ивана Петровича", 1975.

СОЛ БЕЛЛОУ. Американский писатель. Родился в 1915 году в городе Лачине провинции Квебек (Канада) в семье еврейских эмигрантов из России. Когда Солу Беллоу было девять лет, его родители переехали в Чикаго, где он живет и по сей день. Он учился в Чикагском и в Северо-западном университетах, в 1937 году получил степень по антропологии, но ученым не стал, а занялся литературой. Его первые романы — "В подвешенном состоянии" и "Жертва" — успеха не имели. Широкое признание принес ему третий роман — "Приключения Оги Марча", удостоенный Национальной литературной премии. Солу Беллоу принадлежат романы "Гендерсон-король дождя", "Герцог", "Планета мистера Сэмллера", а также ряд рассказов и пьес. В настоящее время он является профессором Чикагского университета, где читает курсы по литературе и теории литературоведения.

НАУМ КОРЖАВИН. См. в журнале К° 1.

МАРИНА ГЛАЗОВА. Филолог по образованию, поэт и переводчик. В эмиграции с 1972 года. Живет в Соединенных Штатах. Печаталась в журнале "Континент" и других русских зарубежных изданиях.

ВЛАДИМИР НАУМОВ. Родился в 1950 году. Москвич; поэт, переводчик. Стихи имели хождение в Самиздате. С 1972 года живет в Париже, преподает русский язык в лицее.

МАЙЯ КАГАНСКАЯ. Филолог. Получила филологическое образование в Киевском университете (1961). Единственное место работы в России — в молодежной газете в Киеве (1963-1964). Лишившись и этой работы, нигде не пыталась устроиться, а писала книги, которые пока еще не напечатаны (книги о Мандельштаме, Чехове, "Грузинский орнамент" и др.). В Израиле с сентября 1976 года.

ЭЛИЕЗЕР (ЛЕОНИД-ЛАЗАРЬ) БРУЦКУС. Родился в Ленинграде в 1907 году. Покинул Россию в 1922 году, когда его отец — профессор сельскохозяйственной академии в Ленинграде — был выслан по предложению Троцкого за "анти-советскую установку" за границу.

Учился в политехникумах Мюнхена и Берлина и специализировался по планировке городов. В Израиле с 1933 года. Был инженером, архитектором по планировке городов, заведовал исследовательским отделом управления городского и районного планирования. С 1953 по 1973 год — вице-директор этого управления, ответственный за районное планирование в национальном масштабе. В настоящее время секретарь Совета Национальных парков и природных заповедников Израиля. Автор многочисленных трудов.

ИЛЬЯ РУБИН. См. в № 6 журнала.

ЮЛИЙ МАРГОЛИН. См. журнал №8.

ГРИГОРИЙ ТАРТАКОВСКИЙ. Родился в Закавказье, получил инженерное образование, вел научно-педагогическую деятельность в ряде вузов СССР. В 1950 году был репрессирован и до 1956 года находился в лагерях Заполярья. В Израиль выехал в 1971 году.

DIGEST OF FIFTEENTH ISSUE OF "VREMIA I MY" "TIME AND WE"

VLADIMIR MARAMZIN. "The Man Who Believed in His Predestination".

In this tale, written in modern manner, the author tells a fantastic story of the protagonist's sexual life and subtly explains some phenomena which enable the reader to understand better some facts of social being of man in the Soviet Union.

SAUL BELLOW. "The Gonzaga Manuscripts".

In this short story, the outstanding American writer portrays a young American who comes to Spain to find a dead poet's lost poems and is maliciously called to task for all the sins that America is conventionally accused of, though, in fact, he is less materialistic and more civilized than many of those Europeans who mock and scorn American Philistinism.

NAUM KORZHAVIN. Poems of previous years.

MARINA GLAZOVA. Lyrics.

VLADIMIR NAUMOV. Lyrics.

MAYA KAGANSKAYA. "Love Conquers Death, or the Fifties". An essay.

ELIEZER BRUTSKUS. "Should We Burn Our Bridges?"

Some thoughts about the ways of Russian culture in Israel.

ILYA RUBIN. "Boris Khazanov's Wilfulness".

In this article, the last one written in his lifetime, the late critic analyzes some of Khazanov's works.

YULY MARGOLIN. "September, 1939".

Continuation. See "Vremia i my". No. 13 & 14.

GRIGORY TARTAKOVSKY. "The Paradoxes of the Archipelago".

Some profiles of the inmates of the GULag and an interview in which the author tells about some paradoxes of freedom and lack of freedom in the Soviet Union.

"Vremia i my" Viewed from All Sides."

Reviews, notes, and readers' letters concerning the "Vremia i my" magazine.



ИЗДАТЕЛЬСТВО **ВРЕМЯ и МЫ**

принимает заказы на все виды типографско-издательских работ: издание книг, альбомов, брошюр, рекламных проспектов, выполнение художественно-оформительских и фоторабот.

Заказы принимаются как от израильских, так и зарубежных издательств и фирм, выполняются на русском и английском языках и по значительно более дешевым, чем за границей, ценам.

Наряду с этим издательство "Время и мы" осуществляет для израильских и зарубежных фирм переводы с английского и немецкого языков на русский, а также с иврита на русский и с русского на иврит.

Выполняются заказы на машинописные работы на русском и английском языках, на редактирование и корректуру рукописей. Принимаются также от израильских и зарубежных фирм все виды объявлений и коммерческой рекламы.

В журнале "Время и мы" бесплатно публикуется реклама книг, выпускаемых издательством. Наряду с этим издательство принимает на себя работу по распространению этих книг в Израиле и за рубежом.

ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ РУССКАЯ
ГАЗЕТА ЗА РУБЕЖОМ

"НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО"

ВЫХОДИТ В НЬЮ-ЙОРКЕ, США
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР АНДРЕЙ СЕДЫХ
66-й ГОД ИЗДАНИЯ

"НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО" РЕГУЛЯРНО ПЕЧАТАЕТ ДОКУМЕНТЫ САМИЗДАТА, ПРОТЕСТЫ ИЗ СССР, ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛУЧШИХ ЭМИГРАНТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ПУБЛИЦИСТИКУ И ПР.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 45 ДОЛЛАРОВ В ГОД;
25 ДОЛ. - 6 МЕСЯЦЕВ
ВОСКРЕСНОЕ ИЗДАНИЕ ТОЛЬКО: 20 ДОЛ. В ГОД
ГODOVAYA ПОДПИСКА ВОЗДУШНОЙ ПОЧТОЙ
(ПАЧКАМИ ПО 6 НОМЕРОВ) : 130 ДОЛЛАРОВ В ГОД

ПОДПИСКУ С ПЛАТОЙ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

"NOVOE RUSSKYE SLOVO"
243 WEST 56 St., NEW YORK, NY., 10019 USA.



ФОНД ДРУЗЕЙ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

Основан Фонд друзей журнала "Время и мы". Средства Фонда расходуются на поддержку деятельности этого журнала, привлечение к его работе наиболее одаренных русскоязычных писателей в Израиле и за его пределами, на издание лучших произведений евреев-писателей, как приехавших в Израиль, так и остающихся в России, на установление связей с русским и еврейским Самиздатом.

В правление Фонда входят:

Израиль Бар-Шира, Егошуа А. Гильбоа, Михаил Клявер, Яков Махт, Борис Орлов, Виктор Перельман, Наталия Рубинштейн, Йосеф Текоа.

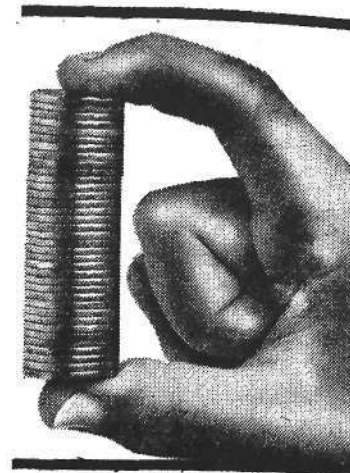
Взносы направляются через банковский счет журнала "Время и мы" по адресу:

Israel Discont Bank L.T.D., branch Akirja account 140317.

Правление Фонда уведомляет, что на банковский счет журнала поступил взнос в размере тысячи долларов от подписчика Сая Фрумкина (Калифорния).

Правление Фонда приносит глубокую благодарность господину Фрумкину.

100-ПРОЦЕНТНОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ ДАЖЕ НЕБОЛЬШИХ СУММ



Вам не нужно вкладывать сразу 18.000 лир, чтобы получить 100-процентное прикрепление к индексу цен.

Сберегательная программа Банка «Леуми» «Коах хай алафим» предоставляет вам возможность откладывать определенные суммы, начиная с 50 лир в месяц.

Ваши сбережения полностью прикрепляются к индексу цен, приносят проценты, бонус и освобождаются от подоходного налога. Дайте вашему отделению банка указание переводить ежемесячно определенную сумму на ваш счет по программе «Коах хай алафим». Таким образом небольшие суммы значительно увеличатся.

Эта сберегательная программа рассчитана на 6 лет.

ПОДУМАЙТЕ О БУДУЩЕМ
BANK LEUMI
LE-ISRAEL B.M.

«КОАХ
ХАЙ
АЛАФИМ»

Отв. за выпуск Белла Немировская
Корректор Нина Островская

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9
п. я. 24123, Тель-Авив. Тел. 621085.
62/9 Nachmani st. T.-A. Tel. 621085.

Фотолитография Ор-Хай. П. Я. 36483. Т.-А.
Типография "Дерби". Улица Микцоа, 9. Т.-А.

Наум Коржавин
Уходим в тревожное "прочь"



Сол Беллоу
Рукописи Гонзаги

Майя Каганская
"Любовь побеждает смерть"



В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Владимир Наумов
Сотворение мира



Элиезер Бруцкус
Сжигать ли мосты?



Григорий Тартаковский
Парадоксы Архипелага